
А.М. Марченко

Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814–1841)

Мать, отец, бабушка	2
Шотландия — туманная родина предков.....	6
В Москву!	8
«Когда я начал мараить стихи в пансионе в 1828 году...».....	9
Отпуск по случаю «холеры морбус»	13
Под знаком Байрона	14
«Что кинул он в стране родной...»	16
«Теперь я – воин...»	17
Экзамены на выдержку	18
Казаться таким, как все	19
Приключение с m-lle S.....	21
Зашифрованная исповедь	23
Невосполнимая потеря.....	25
Пружина огромного предприятия.....	26
«Резкая критика на современные нравы»	27
Отпуск по домашним обстоятельствам.....	28
Дело Владимира Печерина	30
Вызов	32
Михаил Лермонтов и Альфред де Виньи.....	34
«Великие имена возникают на Востоке»	36
Портрет, составленный из пороков целого поколения	37
Последнее свидание	38
Могучий образ	39
Страстная душа.....	41
Год триумфа	42
Дуэль с де Барантом	43
Княгиня Мария и княжна Мери	45
Золотая сабля за храбрость.....	46
Грустный сон	48
Орел или решка?.....	51
Презрение рока	52
Могила без молитв и без креста.....	54
Причина дуэли	54
Новый план жизни.....	56

Мать, отец, бабушка

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в 1814 году в ночь на 3 октября. Его родители — отставной пехотный капитан Юрий Петрович Лермонтов и Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, — не имели здесь собственного дома. Местом их постоянного жительства было село Тарханы Пензенской губернии, принадлежавшее бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой. В Тарханы они и вернулись весной 1815, когда Мария Михайловна оправилась от трудных родов.

По обычаю, после свадьбы молодые супруги должны были поселиться в имении мужа — у Юрия Петровича имелось крохотное поместье, деревенька Кропотово неподалеку от Тулы. Однако Елизавета Алексеевна, недавно овдовевшая, не пожелала жить врозь с единственной дочерью. Даже полагавшееся за женой приданое (одна десятая стоимости Тархан, около 25 тысяч ассигнациями) Юрий Петрович получил лишь условно: выдать эту сумму наличными Арсеньева не сочла необходимым. Деньги дали бы молодым возможность устроиться по своему разумению, а этого Елизавета Алексеевна и в мыслях не допускала, она решительно не верила в разумение зятя, в то, что этот бездельник хоть что-то способен устроить... А когда Юрий Петрович, собравшись с духом, вновь заговорил о разделе имущества, ему вместо гарантийного было выдано заемное письмо, согласно которому получалось, будто он одолжил матери своей жены сумму в размере ее приданого. Заем был, разумеется, фиктивным. У Лермонтова-отца не было и не могло быть таких больших денег. Однако порядок был соблюден, а Юрий Петрович — прочно привязан к Тарханам.

Если не знать предыстории растянувшейся на долгие годы семейной распри, поступки Елизаветы Алексеевны могут показаться либо скарденостью, либо самодурством, мстительным капризом вдовьего одиночества.

Но это далеко не так.

Елизавета Алексеевна Арсеньева, заменившая Мишелю (так звали Лермонтова домашние) рано умершую мать, была урожденная Столыпина, а члены этой огромной и дружной семьи отличались генетически стойким здравомыслием, умением жить, а главное — деловитостью. И как бы ни складывались обстоятельства, Столыпины, даже делая «карьеру» или «деньги», не превращались в деляг, а оставались деятелями или, как говорили в XIX веке, общественными лицами. Когда после серьезной опалы, вызванной близостью к Михаилу Сперанскому, канцлеру и реформатору «дней Александровых прекрасного начала», брат Елизаветы Алексеевны Аркадий был наконец прощен и восстановлен в сенаторском сане, Сперанский, все еще находившийся в ссылке, но продолжавший чувствовать себя «великим мужем», писал, имея в виду прощение своего протеже и друга: «это и справедливо, и полезно, и даже нужно». Справедливо — по отношению к Аркадию Алексеевичу и высшей истине, а полезно, конечно, — Отечеству. Декабристы, в случае успеха восстания, прочили сенатора Столыпина, наряду со Сперанским, в состав Временного революционного правительства. С декабристами был связан и другой брат Арсеньевой — Дмитрий. В бумагах императора Александра I имя генерал-майора Столыпина названо среди «секретных миссионеров», которые способствуют развитию в армии вольномыслия.

Дмитрий Алексеевич, родной дед легендарного премьер-министра Петра Столыпина, скоропостижно скончался от разрыва сердца в возрасте сорока лет 3 января 1826 в своем подмосковном имении Середниково, и первый биограф Лермонтова П. Висковатов, заставший в твердом уме и здравии многих его современников, связывает внезапный «разрыв сердца» с арестами лиц, причастных к восстанию 14 декабря 1825. Аркадий Алексеевич Столыпин, обер-прокурор Сената, умер несколькими месяцами раньше, 7 мая 1825 года.

Как ни печальны были утраты, они уберегли столыпинский клан от правительственных репрессий; так много было «виноватых», что на разбирательство вины умерших

ни у Следственной комиссии, ни у самого Николая I не хватало ни времени, ни внимания, и Столыпина продолжали жить и действовать точно так же, как до восстания и последовавших за ним гонений: служить царю и Отечеству. Даже трагическая смерть, третья менее чем за пять лет, третьего из братьев Лизы Столыпиной, севастопольского губернатора Николая Алексеевича — он был убит при исполнении служебных обязанностей во время чумного бунта летом 1830 года — не поколебала их жизнестойкости. Им, с их практическим, сугубо земным, чуждым всякого мистицизма складом ума и натуры, необходимо было конкретное поле деятельности. Это подтверждает и жизнь младшего из братьев бабки Лермонтова — Афанасия, ее любимца. Герой Бородин, не чуждый литературным интересам (как и его братья, Дмитрий и Николай, Афанасий писал стихи), — он после женитьбы и выхода в отставку заделался удачливым, расторопным земледелом и вообще — хозяином. Его энергии, сметки, здравого смысла и доброты с лихвой хватало и на то, чтобы оказывать самые разнообразные, иногда утомительные, услуги всем своим близким, а прежде всего вдовым сестрам и невесткам. И все это Афанасий Алексеевич делал «без шума, но с твердостью» и по-стольпински разумно и споро.

Хозяйственностью и твердостью характера славились и сестры Столыпина, особенно Екатерина, вышедшая замуж за кавказского боевого генерала Акима Хастатова. У Екатерины Алексеевны на Кавказе, неподалеку от горы Машук (той самой, что станет местом последней дуэли поэта), было крохотное, но настолько обихоженное имение, что в округе его называли не иначе, как земной рай. Впрочем, земной рай, внутри действительно похожий на Божий Сад, с внешней стороны напоминал заурядную кавказскую «крепостцу» (с пушками и насыпным валом), за что хозяйке местные остроумцы присвоили почти воинское звание — авангардная помещица. Но в этом не было насмешки: чтобы жить и прилежно заниматься воспитанием сада в непосредственной близости от передовой линии Кавказского фронта, в условиях «вечной войны», нужна была действительная, а не показная сила духа.

Хорошей хозяйкой, прижимистой, но в меру, не до потери лица и достоинства, была и Елизавета Алексеевна. Она, а не супруг, милейший и добрейший Михаил Васильевич, распоряжалась в записанных на ее имя Тарханах («634 души мужского пола с принадлежащими землями, лесными и всякими угодиями»). Внезапная смерть хозяина (дед Лермонтова со стороны матери Михаил Арсеньев умер 42 лет) ничего не изменила в укладе и быте семьи. Скорее наоборот: некому стало тратить «излишки» на разного рода «удовольствия», до которых, как вспоминают тарханские старожилы, «Михаила Василич» большой был охотник.

Мир, порядок и спокойствие недолго гостили в Тарханах. Едва достигнув семнадцатилетия, единственная дочь Арсеньевых — Машенька, Мария Михайловна, Мари — страстно влюбилась в странного и, по слухам, худого человека, отставного капитана Юрия Лермонтова. Выйдя по болезни в отставку в 1811 году, Юрий Петрович вернулся в свое Кропотово с явным намерением сделать «выгодную партию», то есть удачно жениться.

Итак, Мария Михайловна влюбилась и, несмотря на открытое неудовольствие и матери, и всей стольпинской родни, вышла-таки за Лермонтова замуж. Легкость, с какой семнадцатилетней девушке и притом отнюдь не стольпинского склада — Машенька вся в отца, мечтательная, артистичная, пылкая, — удалось сломить стольпинское здравомыслие, может показаться странной, отчего и возникли разного рода сплетни и предположения, хотя на самом деле все участники этой жизненной драмы просто действовали в строгом соответствии со своей натурой.

Машенькин избранник был хорош собой («среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен»), обаятелен, сведущ в «науке страсти нежной», начитан, наслышан (окончил Петербургский кадетский корпус) и даже добр, хотя и вспыльчив. Но все это, включая начитанность, в стольпинском кругу не относилось к числу первейших мужских

добродетелей. К тому же Юрий Петрович был беден. Не просто небогат, а именно беден, причем настолько, что сестры его, бесприданницы, так и остались в старых девах. Впрочем, бедность была не главным, даже в глазах Елизаветы Алексеевны, пороком нежеланного жениха. Жизненный опыт Машенькиной матери (Михаил Арсеньев покончил с собой на почве безответной любви к молоденькой соседке по имени) подсказывал материнскому сердцу: избранник ее дочери не просто «не ровня» ей, а еще и ненадежен, в том самом смысле неоснователен, что и покойный супруг Елизаветы Алексеевны: ни домовитости, ни верности слову и долгу, ни твердости характера и отчетливости облика! Хуже того, у ее-то Михайлы — страсти, а у Машиного капитанишки — страстишки да утехи сладострастия! Елизавета Алексеевна кое-как приспособилась к существованию при «беспутном» и ненадежном муже и даже смерть его перенесла с достоинством: все держала в себе, и горе, и обиду. Но это она, Лиза Столыпина, а дочери, с ее-то чувствительностью, нужен другой муж, надежный и твердый, тем паче, что и положение у Марьи другое: Елизавета Алексеевна смолоду была нехороша собой и знала это; фамильные черты, которые так шли братьям Столыпиным: высокий рост, крупные черты лица, властность и твердость — сестер не красили. А Машенька — мила, мила и изящна. И музыкантша, и голос хороший. Словом, по всем расчетам дочери было ни к чему торопиться замуж, а тем более высказывать за первого встречного.

Однако Машенька, поддерживаемая родственниками по отцу Арсеньевыми (им, бонвиванам, обходительный Юрий Петрович нравился донельзя), — ждать не желала. В дочери мать узнавала покойного мужа: то же нетерпение сердца, не желающего признавать над собой власть обстоятельств, те же упорство страсти, и безмерность желаний, и пылкость воображения...

Вдова самоубийцы слишком хорошо знала, что может произойти, если ей и удастся своевольно запрудить этот «поток», остановить эту «клокочущую лаву». Уж очень все совпадало: или дать-подать друга сердечного Юрия свет Петровича, или...

«Елка и маскарад были в этот момент в самом разгаре, и Михаил Васильевич был уже в костюме и маске; он сел в кресло и посадил с собой рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку и начал им говорить как бы притчами: “Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой”. Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали или почти не обратили на них внимания, приняв их скорее за шутку, нежели за что-нибудь серьезное. Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату, достал из шкафа пузырек с каким-то зельем и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол, без чувств и изо рта у него появилась обильная пена, произошел между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разъехаться по домам. С Елизаветой Алексеевной сделалось дурно; пришедши в себя, она тотчас же отправилась с дочерью в зимней карете в Пензу... Пробыла она в Пензе шесть недель, не делая никаких поминовений».

Словом, Елизавета Алексеевна была не из тех, кто ничему не учится; слишком дорога была ей дочь — единственная страстная привязанность, — чтобы она могла позволить себе рисковать. Именно здравомыслию матери, а не ее слабости обязана Машенька Арсеньева, теперь уж Мария Михайловна Лермонтова, своим недолгим, горьким, обманчивым счастьем...

От склянки с ядом мать уберегла, а вот от медленной смерти, на которую обрекала рассеянная, легко раздражающаяся нежность Юрия Петровича, не сумела. Нежность вместо любви? Признательность и вежливость вместо пламенной страсти?! Этого ли ждала от своего избранника дочь Михаила Васильевича Арсеньева, человека, рожденного «с душой кипучею как лава»?

А тут еще болезнь... Врачи долго не могли поставить правильный диагноз: «то ли чахотка, то ли сухотка»...

Зимой 1817 года началось обострение, 24 февраля того же года Мария Михайловна скончалась, а 5 марта, выждав положенные по обычаю девять дней и не дождавшись сороковин, Юрий Лермонтов уехал из Тархан. Взять с собой сына Елизавета Алексеевна

ему не позволила. Срок оплаты заемного письма продлила. Еще на год. Однако Юрий Петрович не хотел отказываться от сына. А бабушка не желала расставаться с внуком. В результате и появилось духовное завещание Арсеньевой.

Как и все поступки этой женщины, этот был более чем решительным:

«Ныне сим... предоставляю по смерти моей... родному внуку моему Михаиле... принадлежащее мне... с тем, однако, ежели оный внук мой будет по жизнь мою до времени совершеннолетнего его возраста находиться при мне на моем воспитании и попечении без всякого на то препятствия отца его, а моего зятя... если же отец внука моего истребоват, чем, не скрывая чувств моих, нанесут мне величайшее оскорбление, то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю по смерти моей уже не ему, внуку моему... но в род мой».

На естественное желание отца самому воспитывать единственного сына Елизавета Алексеевна ответила оскорблением. Юрий Петрович не мог дать мальчику того положения в обществе, какое обеспечивало попечение Арсеньевой. Отец поэта был не только бедным дворянином — он был человеком без связей.

Униженный и оскорбленный, Юрий Петрович отступился. Но Елизавете Алексеевне было мало скрытого от посторонних глаз унижения. Сделав вид, что не в состоянии погасить мнимый «долг», она растянула мучительное для Юрия Петровича положение вымогателя еще на полтора года. Деньги он получил только в мае 1819. Об условиях духовного завещания и заемном письме знали лишь самые близкие, вот молва и расценила получение столь крупной суммы как взятку: отец-де продал теще за 25 тысяч рублей ассигнациями свои права на сына — «странный и, должно быть, худой человек».

Лицо живой матери Лермонтов забыл, его заместил портрет, с которым бабушка никогда не расставалась.

А вот день ее похорон, хотя ему не было и трех лет, запомнил, описав в поэме «Сашка»:

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пенъем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье...

Надпись на надгробной плите матери поэта в семейной усыпальнице в селе Тарханы гласит: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой. <...> Житие ее было 21 год, 11 месяцев и 7 дней».

Было бы неверным преуменьшать драматизм обстоятельств, омрачивших ранние годы поэта. В «Эпитафии» отцу он писал: «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал». И все-таки страна детства — Тарханы — навсегда осталась светлым воспоминанием, почти утраченным раем. Вот какой вспоминал ее Михаил Юрьевич в январе 1840 года, в один из самых трудных периодов своей жизни:

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами.

Елизавета Арсеньева панически боялась за здоровье внука и была убеждена, что лучшее лекарство от всех недугов — свежий воздух, неторопливая деревенская жизнь.

Из тех же соображений решила и на три утомительных путешествия на Кавказские Минеральные Воды. В 1818, 1820 и 1825 годах. Здравомыслие не подвело Арсеньеву. Серные ванны и перемена климата излечили внука от золотухи, а главное — подарили впечатлительному ребенку новый мир — «жилище вольности простой», «синие горы Кавказа», столь непохожие на степную равнинность Тархан. Игра «в Кавказ» и «в горцев» стала любимым развлечением Мишеля в долгие тарханские зимы.

Был у Елизаветы Алексеевны и еще один редкостный дар. Она умела окружить внука уютом, где бы они ни жили — в Тарханах, Москве, Петербурге. Будучи по натуре скорее расчетливой, чем безудержно щедрой, она тем не менее не жалела денег на учителей и гувернеров. Конечно, Арсеньевой не хотелось делить сердечную привязанность мальчика с кем бы то ни было. Несмотря на это, она охотно приглашала гостей детей — внучатых племянников и племянниц и просто знакомых. В Тарханах гостили подолгу. Порой «гостевание» затягивалось на месяцы, а то и годы. Она делала все, чтобы в их обездоленном судьбой доме было как можно больше жизни — живой, молодой, растущей! Чтобы все в нем «грело сердце»!

Нам, людям другой эпохи, усилия Арсеньевой кажутся естественными, однако во времена Лермонтова это было скорее счастливым исключением. Сошлюсь на запись в дневнике приятеля Пушкина Алексея Вульфа:

«Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит. ...Отдавая детей своих на произвол нянек, оттолкнув их таким образом от себя, они винят детей в неблагодарности, не находя в них любви к себе... Вот что мы видим всякий день, если заглянем в домашнюю жизнь наших бояр».

В чем-чем, а в недостатке любви к себе Елизавета Алексеевна никогда не могла упрекнуть внука. Жалея бабушку, он умел войти в ее положение, даже если это требовало непосильных для детского сердца жертв. Пожертвовал, например, потребностью общения с отцом, столь острой в подростковом возрасте, выросшем на женских руках. Виделся с ним урывками, скрывая свою привязанность — лишь бы ничем не оскорбить священную ненависть Елизаветы Алексеевны к зятю, которого она упорно считала виновником смерти дочери.

Шотландия – туманная родина предков

Столыпинами — сестрами и братьями бабушки, а также их детьми и внуками — Лермонтов был окружен всюду. В Москве. В Петербурге. В Пензе. В Тарханах. И даже на Кавказе. Но был один уголок в его внутреннем мире, куда ничто «стольпинское» не допускалось. Этим тайным убежищем была Шотландия, туманная родина его предков по отцу. А вдруг предком, давшим ему имя, был легендарный Томас Рифмач, прозванный Лермонтом? Специальные разыскания показали, что филологическое чутье не подвело Лермонтова: в его фамилии действительно спрятан шотландский «корень».

Вот о чем говорят документы.

В 1613 году, во времена Смуты, русскими воеводами была освобождена занятая поляками крепость Белая. Среди взятых в плен «бельских сидельцев», то есть осажденных, оказалось около 60 человек шотландцев и ирландцев, состоявших на польской службе. После недолгих переговоров они «вышли», то есть сдались, «на государево имя» — в ту пору русское правительство охотно пополняло московские войска военными профессионалами из иноземцев. Среди бельских сидельцев был и Георг Лермонт. Сначала предок поэта получал совсем маленькое жалованье — около трех рублей «кормовых денег» как рядовой воин. Однако летом 1618 года в бою под Можайском Лермонт уже прапорщик и после похода «бьет челом» о повышении оклада. Прожив почти шесть лет в Московском государстве, Георг не потерял связи с соотечественниками. Вместе с ними воевал, хлопотал в пользу семей погибших друзей. В первые годы иноземцы, как и положено наемникам, жили колониями, обучая военному делу русских, а затем некоторые из них решили остаться на русской стороне навсегда. Сохранилась челобитная Георга

Лермонта, уже поручика, в которой он перечисляет заслуги шотландцев за время их «службы» в интересах московского царя. В ней заключена просьба наделить их поместьями. Это значило, что из временно-наемных солдат они желали превратиться в московских служилых людей, в дворян, привязанных к государству землей. Челобитная была уважена. Сам Лермонт получил земли возле города Галича, под Костромой, где находились, кстати, и наследственные владения будущих царей романовской династии. Поместье состояло из девяти маленьких деревень. Вскоре Георг Лермонт погиб, оставив трех сыновей: Вильяма, Андрея и Петра. Следы первых двух теряются, а Петр принял православие. Это упрочило положение его детей, они кончили службу «стольничеством». От одного из внуков Георга Лермонта — Евтихия Стольника и берут свое начало русские Лермонтовы. Дед поэта вскоре после женитьбы продал костромские наследные земли и купил Кропотово. Видимо, при переезде, а может, и раньше, по беспечности, Лермонтовы растеряли семейный архив, в том числе и бумаги о благородном происхождении. В результате Юрию Петровичу за удостоверяющей дворянство справкой пришлось обращаться в Вотчинный Комитет. Справка понадобилась, чтобы Мишель мог поступить в пансион, куда принимались только дети потомственных дворян. Словом, ничего конкретного о своей родословной Юрий Лермонтов уже не знал, соответственно не знал и Михаил Юрьевич, отсюда крайне туманный образ прародины и не менее туманный облик легендарных предков в юношеском стихотворении «Желание». Между тем у «потомка отважных бойцов» были веские причины гордиться историей своего рода. Уже после гибели поэта исследователи обнаружили в русском архиве поколенную роспись, составленную внуками Георга Лермонта. Отважный боец Георг Лермонт покинул Туманный Альбион в то время, когда всей Англии уже была известна история короля «Данкануса», обманутого коварным «Макбетусом», по трагедии Шекспира «Макбет». И тем не менее обрусевшие Лермонты ссылаются на более достоверный источник — свидетельства средневекового хрониста Бозция.

Бозций рассказывает, что Малькольм, сын Дункана, короновался 25 апреля 1061 года. Затем созвал общий парламент и там одарил вельмож, державших его сторону, причем особенно щедро тех, чьих отцов погубил узурпатор трона Макбетус. Среди одаренных землею воинов назван и Лермонт. По данным другого хрониста, Лесли, Лермонт, хотя и участвовал в походе Малькольма против Макбета и в самом деле помог ему вернуть «природное королевство» — Шотландию, по происхождению шотландцем не был. В числе нескольких английских вельмож он добровольно, из высших соображений, последовал за Малькольмом, вместе с шотландцами подвергался величайшим опасностям, за что и был щедро вознагражден. Имя Лермонта не попало в шекспировскую художественную хронику, поколенная роспись, составленная внуками Лермонта, пылилась в русском архиве; шотландских хроник Лермонтов, естественно, не читал и, преклоняясь перед Шекспиром, так никогда и не узнал, что в толпе героев, вызванных воображением гения из исторического забвения, среди не названных в «Макбете», но реально существовавших в окружении короля Малькольма рыцарей был и его предок!

Не подозревал Михаил Лермонтов и того, что находится в свойстве и с другим великим шотландцем и кумиром своей юности лордом Байроном. Как установил русский писатель Овидий Горчаков, в середине XVII века одна из дочерей английского Лермонта Джеймса вышла замуж за сэра Вильяма Гордона. А дальше произошло следующее (цитирую О. Горчакова):

«Лет через полтора года после того, как Лермонты породнились с Гордонами, 13 мая 1785 года на Екатерине Гордон женился пятый барон Байрон, отпрыск древнейшего норманнского рода Бурунов, ставшего позднее французским родом Бирунов, а затем и английским родом Байронов. В 1788 году родился гениальный поэт Джордж Гордон Байрон... Когда Байрону было 26 лет, в Москве у Красных ворот родился и его свойственник — Михаил Юрьевич Лермонтов».

В Москву!

По собственному признанию Лермонтова, в детстве он почти ничего не читал. Пушкин — тот уже к двенадцати годам опередил товарищей по Лицею, а вот Лермонтов в детстве и отрочестве отставал от сверстников.

Уединенная жизнь в Тарханах, однообразие впечатлений, узость домашнего круга удлиняли «младенческие дни»... Даже поездки в Пятигорск, раздвигая горизонт, не очень-то расширяли круг общения. Нет, нет, бабка поэта вовсе не была глупой наседкой, решившей задержать дитяню в недорослях. И то, что обожаемый внук — птенец не стольпинского гнезда, понимала. Их, Столыпиных, знак — земля, почва, а Миша под иною звездой рожден, и знак его — пламя, огонь. Однако чтобы учить мальчика всерьез, надо было бросить ухоженные Тарханы на управляющего и переселяться в Москву насовсем. А там — ни собственного городского дома, ни своей подмосковной усадьбы. Без долгого деревенского лета Елизавета Алексеевна распорядка жизни не представляла: она по-прежнему панически боялась — для внука — чахотки, отнявшей у нее единственную дочь. Тревожила госпожу Арсеньеву и болезненная впечатлительность ребенка. Чрезвычайную нервность, как и редкостную музыкальность, он также унаследовал от матери...

Но вот наконец-то, после долгих колебаний, выбрано подходящее учебное заведение: Благородный пансион при Московском университете. Тот самый, что с золотой медалью окончил самый талантливый из братьев Арсеньевой — ученый артиллерист Дмитрий.

В Москву Арсеньева перебиралась основательно: с крепостными людьми, скарбом, запасами деревенской снеди. О том, какое впечатление произвел на него въезд в древнюю столицу, фактически — возвращение на родину (Лермонтов никогда не забывал, что родился именно в Москве, да еще и у Красных ворот, то есть почти рядом с тем местом, где появился на свет Пушкин!), поэт рассказал в «Панораме Москвы» (1834): «Кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники... гремят модные кареты, лепечут модные барышни...»

Не сохранилось ни одного портрета Михаила Лермонтова в отрочестве, но, судя по воспоминаниям очевидцев, он и в 1827 году (год переезда из Тархан в Москву) почти такой, как на известном холсте 1822 года: еще совсем дитя, смуглый, с блестящими глазками, в коротенькой детской курточке. От той начальной поры остался один-единственный документ, позволяющий восполнить этот пробел, — письмо Мишеля из Москвы в Апалиху, тетушке Марии Акимовне Шан-Гирей, любимой племяннице Елизаветы Алексеевны:

«Милая тетенька!

Наконец, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лени, но потому что у меня не будет время. Я думаю, вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять, я к вам пишу это не для похвальбы, но, собственно, оттого, что вам будет приятно, в географии я учу математическую, по небесному глобусу планеты, ход их и прочее, прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще с полгода буду рисовать их, но я лучше стал рисовать, однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не был, но я был в театре, где я видел Невидимку, ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мне мои воски). Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы написал братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку. Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки и остаюсь ваш покорный племянник.

М. Лермонтов.

Процитированное письмо, напоминая, отослано в Апалиху ранней осенью 1827 года, в разгар подготовки к вступительным экзаменам. Покорному внуку и племяннику вот-вот исполнится 13 лет, он прилежен, серьезен, крайне озабочен успехами в науках

и искусствах: почти два месяца в Москве, еще нигде не был — при его-то любознательности! Душой, однако, никак не может оторваться от детских своих увлечений, среди которых главное — рисование и лепка. Рисует и лепит он давно. Чуть ли не с младенчества. Аким Шан-Гирей, троюродный братец, товарищ детских игр, старший сын милой тетенки Марии Акимовны, вспоминает:

«Мишель был мастер делать из талого снега человеческие фигуры в колоссальном виде, вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам, уже тогда [то есть в раннем детстве, в Тарханах] рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины, охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, тоже переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. Проявление же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время».

За что бы Лермонтов ни брался, он все делал «довольно порядочно». Например, играл на многих музыкальных инструментах — флейте, фортепьяно, скрипке. На выпускных экзаменах, при переходе в 6-й класс Благородного пансиона сыграл Аллегро из скрипичного концерта Маурера, который исполняли в те времена самые известные виртуозы. Он и романсы пел — и тоже, как утверждают современники, почти профессионально.

До конца жизни сохранилась у Михаила Юрьевича охота мастерить что-то руками. В 1841 году, летом, за неделю до дуэли, на которой поэт был убит, пятигорская военная молодежь решила устроить бал по подписке. Лермонтов принял в подготовке к увеселению самое активное участие. Его квартира стала чем-то вроде оформительского цеха. Один из участников этого предприятия вспоминает:

«Мы намеревались осветить грот... для чего наклеили до 2 000 разноцветных фонариков. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями».

В 1827 году, по приезде в Москву, началось и еще одно увлечение Лермонтова: русской историей. К античности он, в отличие от Пушкина и поэтов его поры, был равнодушен, историей же русской занялся всерьез, а начал с изучения Москвы — гениальной «каменной книги», каждый камень которой «хранит надпись, начертанную временем и роком» («Панорама Москвы»). Судя по этому произведению, самое сильное впечатление на Лермонтова-отрока произвел Покровский собор. Согласно бытовой московской традиции, он именуется его храмом Василия Блаженного (по церкви, пристроенной к собору позже):

«Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой... Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева... Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела».

Весьма немногие жители Москвы решились обойти все приделы сего храма».

Приведенный фрагмент из «Панорамы Москвы» — не только лучшее из описаний главной достопримечательности Красной площади. Это еще и ключ к замыслу «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837). Даже в композиционном строении «Песни...» есть нечто, напоминающее гармоническую асимметрию этого храма: каждая глава окрашена особенною краской, а целое — подобно раскидистому дереву...

«Когда я начал марать стихи в пансионе в 1828 году...»

На подготовку к поступлению в пансион потребовался год. Испытания прошли успешно, и 1 сентября 1828 года Михаил Лермонтов зачислен сразу в четвертый класс. Жизнь вдруг изменилась. У него появились приятели его личного выбора, до сих пор партнеров для игр выбирала бабушка, благо родственников окрест Тархан не счесть и все почитают за честь отправить мальчишек под Лизин надзор и опеку. Но одно дело кузены

и кухни всех степеней родства и совсем иное — пансионское братство. Лермонтов открыто ищет дружбы, не высокомерничая сочиняет поэтические послания к пансионским приятелям. Увы, отношения со сверстниками складывались не слишком удачно: мальчишки, видимо, инстинктивно чувствовали, что новый их однокашник немного странный: слишком уж многого ждет, ну чуть ли не требует родства душ, какой-то особой деликатности и понимания.

Видимо, до пансиона Лермонтов и не подозревал, до какой степени он «не годится меж людей»! Зато Елизавета Алексеевна вероятность конфликта допускала и загодя приняла, что называется, меры. Поздней осенью 1828 года по первопутку, с верной оказией в Москву из Апалихи был отправлен на подмогу Аким (Еким) Шан-Гирей. Об этом Арсеньева еще летом договорилась с племянницей, матерью Акима. С расчетом на прибавление семейства сняла и поместительный дом на Малой Молчановке. Прежняя, нанятая впопыхах квартира на Поварской была для троих слишком тесной.

Поднявшись по узкой лесенке в кабинет кузена (маленькая светелка под самой крышей), Шан-Гирей удивился, разглядев на книжной полке целую библиотеку русской поэзии — от Ломоносова до Пушкина. Большую перемену нашел пензенский кузен и в самом Мишеле, хотя не виделись мальчишки всего несколько месяцев. К 14 годам он так резко и вдруг повзрослел, что Аким уже и представить не мог, что этот серьезный и взрослый братец будет, как и прежде, играть с ним в солдатиков. Поразили Акима и лежавшие на столе толстые тетради — для разных сочинений М. Лермонтова. Больше всего понравилась поэма «Черкесы». Это уже не стишки на именины или на случай, а настоящая, длиной в тетрадь, кавказская повесть в стихах!

Понаблюдав за играми дорогих ей мальчишек, госпожа Арсеньева огорчилась: Аким для Мишеля и слишком юн, и чересчур прост. Оглядевшись (как и все Стольпины, Елизавета Алексеевна ничего не делала сгоряча), не чинясь нанесла визит жившим по соседству в собственном доме Лопухиным. Кроме взрослых, на выданье, девиц — Марии и Елизаветы, в милом этом семействе был еще и сын Алексей, по-домашнему Алексис, ровесник внуку. С Алешей и свела своих мальчишек: трое — уже компания. Выбор бабушки оказался удачнее, чем его пансионские предпочтения: с Алексеем Лопухиным Михаил Лермонтов подружился всерьез — на всю оставшуюся жизнь... Чем обернется для Мишеньки приятное соседство, когда через три года Лопухины привезут из деревни в Москву на ярмарку невест младшую из трех сестер Варвару, Елизавета Алексеевна при всей своей предусмотрительности угадать конечно же не могла...

Но все это — и первая большая любовь, и первое неутешное горе — еще впереди, ведь на дворе год 1828-й. Первый покойный и почти счастливый год в их обездоленной столькими утратами семье... До лета 1830 года не только горе, но и крупные неприятности обходили дом на Малой Молчановке. Миша учился с превеликой охотой, не зная, что значит уставать, и при этом не рвался в лидеры, дескать, путь тайных дум предпочтительнее быстрого успеха и легкой удачи. Ей, бабушке, и то досадно: если бы не латынь и вообще античные премудрости, кончил бы четвертый класс первым учеником. А ему хоть бы что. Никакого ущемления первенством! То же со стихами: пишет-пишет, и все для себя. В стол прибирает, из потребности, объясняет, в самопознании. Да еще и насмешничает над своей новой забавой: кропаю, дескать, стишки...

Словом, со стороны и вчуже все выглядело именно так, как описал Аким Шан-Гирей:

«В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера... Никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзаний в действительности не было... Все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению».

О своих первых поэтических опытах Лермонтов действительно не раз вспоминал как о чем-то не совсем серьезном: «Когда я начал марать стихи в пансионе в 1828 году...».

Однако если мы, спровоцированные простодушием Шан-Гирея, поверим в ровный характер и всегдашнюю веселость покорного внука, заботливого племянника и любезного брата, то невольно окажемся в положении известных шекспировских стукачей — Розенкранца и Гильденстерна, попытавшихся понять принца Гамлета, исходя из собственных представлений. Этот знаменитый эпизод с флейтой Лермонтов приводит в одном из писем все к той же милой тетушке — Марии Акимовне Шан-Гирей:

«Гамлет берет флейту и говорит:

— Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

1-ый придворный. Я никогда не учился, принц, не могу.

Гамлет. Пожалуйста.

1-ый придворный. Клянусь, принц, не могу (и прочее: извиняется).

Гамлет. Ужели после этого не чудачи вы оба? Когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа, одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?..»

Увы, люди, окружавшие Лермонтова, даже самые близкие и любимые, не обладали способностью выведать у него, наделенного необыкновенной волею и замечательной выдержкой, тайные мысли и чувства! Однако о том, что под внешней веселостью идет титаническая работа духа, невидимая домашним, свидетельствует его «Молитва», написанная в самом конце 1829 года. С гениальными поэтами такое не часто, но все же случается: они вдруг совершают внезапный скачок в будущее, обгоняя самих себя:

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю...

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращаюсь.

Прорыв в будущее, совершенный в «Молитве», «демонский полет» (слова В. Белинского) «через мышление и годы» смутил, похоже, и самого Лермонтова, ему не по себе на такой страшной высоте и хочется назад, в бабушкины уюты. Под крыло ее и защиту:

Зачем семьи безвестный круг
Я покидал? Все сердце грело там,
Все было мне наставник или друг,
Все верило младенческим мечтам.

Однако Михаил Лермонтов и в первой юности — не только лишь мечтатель, властелин «дивного царства», созданного воображением. При всей своей мечтательности, врожденной, от матери унаследованной, он испытывает творческий, исследовательский интерес к действительной жизни, с ее темными и отнюдь не возвышенными страстями. Не случайно Борис Пастернак, посвятив Лермонтову одну из самых любимых своих книг, так объяснил смысл посвящения: «...не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он жил среди нас. Его духу, до сих пор оказывающему влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем был для меня Лермонтов 1827 года? — Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни».

Последняя мысль — самая важная: двигатель, сокрытый в человеческой и творческой сущности Лермонтова, — непреодолимая, как голод и жажда, потребность действовать: «Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать». Выросши за розовыми занавесками барского особняка, освобожденный привилегией рождения от прозаических забот, фактически обреченный на ничегонеделанье, он ощущает в себе и силы необъя-

ные, и мощную волю к действию. И это в николаевской России, где поощрялся лишь один вид деятельности — имитация ее и где единственным спасением было «ничтожество», то есть полный отказ от высших интересов! Это обстоятельство, как свидетельствует его «Монолог» (1829), Лермонтов принял к сведению очень рано, едва вырвался «из детских одежд»:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем!..

Сознание обреченности не остановило юношу: его фатализм был особой, лермонтовской «марки», он не отменял правила, которому поэт следовал на протяжении всей своей жизни: «Ничего не отвергать решительно и ничему не доверяться слепо». Не отверг он и возможности «употребить» с пользой для Отечества и глубокие познания, и талант, и даже пылкую любовь к свободе. Впрочем, в лермонтовском случае выбирал направление жизни не расчет, а инстинкт самосохранения. Это предположение может показаться ложным парадоксом, но лишь до тех пор, пока мы его не сопоставим со следующим, явно автобиографическим рассуждением из романа «Герой нашего времени»: «...тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Итак, едва достигнув пятнадцати лет, Лермонтов сделал свой выбор: тесный путь спасения — не для него. Отныне и до конца, до точки пули в своем конце, он — во власти демона поэзии:

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет.

И сделал он этот выбор не сгоряча, в сумятице противоборствующих страстей и устремлений, а по трезвому размышлению:

Его ничто не испугает,
И то, что было б яд другим,
Его живит, его питает
Огнем язвительным своим.

Правда, никто из смертных ни в 1828-м, ни в 1829-м и предположить не может, что обещает этот выбор русской поэзии. В Московском благородном пансионе стихи, и недурные, пишут многие. И не только пишут, но даже издают. Здесь явно готовят кадры для большой русской журналистики. Один из однокашников Михаила Юрьевича вспоминает:

«Пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В известные сроки проходили по вечерам литературные собрания... Некоторыми учениками старших классов составлялись рукописные сборники статей, в виде альманахов или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между воспитанниками, родителями и знакомыми. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания».

И вот что еще нужно отметить. Да, Лермонтов желал действовать. Да, он спешил жить. И жить и чувствовать — не зная, что значит уставать и отдыхать. Но подгоняло, подхлестывало, торопило, заставляя работать в любых условиях — в беде, болезни, в окопах царской службы, — не просто желание прославиться, хотя, как всякий талантливый человек, наделенный достаточным честолюбием, он конечно же надеялся, что его «гений веки пролетит». Однако слава, доставшаяся «даром», ему была не нужна. Настоящая, его слава могла быть лишь продолжением и результатом титанического труда — пределом совершенства:

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства.
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.

Отпуск по случаю «холеры морбус»

Пансиона Лермонтов не кончил, ушел из последнего класса, хотя предыдущий окончил с отличием. Этому неожиданному решению предшествовало знаменательное событие. В пансион без предупреждения нагрянул император Николай I. Один, без свиты. Да еще во время большой перемены, когда ученики всех возрастов, пользуясь свободой нравов привилегированного заведения, устремились из классных комнат в огромный коридор. Коридор вмиг обратился в «арену гимнастических упражнений всякого рода», и на царя никто не обратил внимания. А когда один из воспитанников все-таки узнал Николая и, вскочив с места, стал громко приветствовать, другие сочли это выходкой шутника. Император был разъярен. Излив гнев на растерянного директора, он «вышел и уехал».

Прискорбное сие происшествие случилось 11 марта 1830 года, и уже через две недели был приведен в исполнение императорский указ о преобразовании университетских пансионов (и московского, и петербургского) в обыкновенные гимназии.

Это была и первая встреча будущего великого поэта с царем. И первое крушение. Ведь пансион давал те же права, что и университет! А Лермонтов так спешил из детских «вырваться одежд»! Он «спешил всегда, во всю свою короткую жизнь», вспоминал художник М. Меликов, с детства знавший Лермонтова.

Пришлось круто менять план жизни.

21 августа 1830 года на правлении Московского университета слушалось следующее прошение:

«Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермонтова; имею от роду 16 лет; обучался в Университетском благородном пансионе разным языкам и наукам в старшем отделении высшего класса; ныне же желаю продолжить учение мое в императорском Московском университете».

Прошение было принято. Однако приступить к занятиям Лермонтов смог только в январе следующего, 1831 года. В России, в том числе и в Москве, вспыхнула эпидемия холеры. «Зараза, – вспоминают очевидцы, – приняла чудовищные размеры. Все учебные заведения и присутственные места были закрыты. Публичные увеселения запрещены, торговля прекращена». Те, у кого поблизости от Москвы — загородные поместья, поспешили укрыться там, чтобы переждать «чуму». Арсеньева к невестке, в Средниково, выехать не успела: пока раздумывала, город оцепили карантинными кордонами; паниковать, однако, не стала, увидев, что внук спокоен. Мишель и впрямь выглядел спокойным и даже довольным, ведь у него впервые чуть ли не за два года появилось свободное время, чтобы «сочинять свое», и теперь только от него зависит, чтобы отпуск по случаю «холеры морбус» был использован плодотворно. Естественно, так и вышло. За холерные месяцы, помимо нескольких поэм, он написал драму «Люди и страсти», а также целую тетрадь «разных стихотворений».

С именем Лермонтова в России связано рождение психологической прозы истинно романного типа, сосредоточенной на исследовании внутренней жизни человека.

«Герой нашего времени» — первый в русской прозе «личный» <...> или «аналитический» роман: его идейным и сюжетным центром служит не внешняя биография <...>, а именно **личность** человека — его душевная и умственная жизнь, взятая изнутри как процесс», — писал известный литературовед Б. Эйхенбаум.

Однако истоки психологизма надо искать не в первых прозаических опытах Лермонтова (неоконченный роман «Вадим»), а в лирических тетрадах Лермонтова-подростка. Именно там, на страницах поэтического дневника, была осознана сверхзадача, какую предстояло разрешить Лермонтову-прозаику:

Две жизни в нас до гроба есть,
Есть грозный дух: он чужд уму;
Любовь, надежда, скорбь и месть:
Все, все подвержено ему...

В Предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов пишет: «История души человеческой... едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Высказывание это не следует понимать буквально: интерес к внутренней жизни человека не исключал для него интереса к «целому народу», даже в годы ранней юности, когда был «занят своей судьбой как мировой проблемой» (Б. Эйхенбаум). Доказательство — удивительное стихотворение «Предсказание», написанное в 1830 году, вскоре после того, как во время холерного бунта был убит двоюродный дед Николай Столыпин:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь...

Под знаком Байрона

В том же 1830 году Мишель открыл для себя Байрона, сначала в русских переводах и французских переложениях. Но и в таком виде Байрон настолько воспламенил воображение, что Лермонтов менее чем за год овладел английским — чтобы читать британского барда в оригинале.

Два года прошли под знаком Байрона. Душа, одержимая идеей совершенства («Но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства»), деятельный ум, жаждущий великой цели, нашел-таки ее: достигнуть Байрона!

Я молод, но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О, если б одинаков был удел!..

Но чтобы достигнуть Байрона, надо было овладеть секретом его поэтического мастерства. И Лермонтов не просто копирует его тексты, как было с южными поэмами Пушкина, — пишет подражания, сочиняет вариации, а главное, усердно переводит — то предельно точно, то вольно.

По Байрону проверяет пятнадцатилетний поэт переживания, рожденные влюбленностью в восемнадцатилетнюю Екатерину Сушкову, или, как ее называли в близком ему кругу, — мисс «Black Eyes». Ведь было еще одно поразительное совпадение его биографии с биографией лорда Байрона! Подобно Мери Чаворт, в которую был безнадежно влюблен юный Байрон, Катенька Сушкова на два с половиной года старше Лермонтова, и, как и Мери Чаворт хромого своего поклонника, ни во что не ставит «косолапого Мишеля»...

В московский период жизни Лермонтов работал с необычайной интенсивностью. Ничто ему не мешало. Ни земные печали. Ни земные радости. Ни связанные с холерой тревожения. Ни политические бури, на которые был так богат 1830 год... Дом на Малой Молчановке (сейчас там расположен музей Лермонтова), который после долгих поисков так удачно выбрала Елизавета Арсеньева, был невелик, но на редкость удобен. Но лучше всего — светелка в мансарде. Мишель выбрал ее «под кабинет» и обставил по своему вкусу. Ничего лишнего. Идеальная «келья». Столь надежного уединения в его жизни уже больше не будет...

Выпускные экзамены за первый курс университета Михаил Лермонтов сдал блестяще. А вот на втором начались осложнения. Университетские лекции перестали его интересовать. И не потому, что он так уж сильно предавался разного рода развлечениям, на которые Москва, после холерного карантина, накинута с особой жадностью, а по-

тому, что в его личной жизни, в которой так долго не случилось ничего значительного, произошли два чрезвычайных события.

1 октября 1831 года в своем селе Кротова скончался Юрий Петрович Лермонтов. Умер, не успев проститься с сыном. Михаил Юрьевич едва успел на похороны:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть.

При жизни Юрия Петровича считалось, что во всем — и в смерти матери, и в их разлуке виновен, пусть и без вины, один отец... Осиротев, сын понял, что не только отец виноват перед ним, но и он — перед отцом. Пришел его черед молить о прощении и даже оправдываться:

...Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней...

Разлуку с тем, кто «дал ему жизнь», Лермонтов всегда переносил болезненно, хотя старался не показывать этого. Ведь еще с отроческих лет его девизом стало: «Страдать без всяких признаков страданья». Но, видимо, лишь после 1 октября 1831 года он смог посмотреть на «ужасную» ситуацию не со своей, а с отцовской стороны. И теперь отказ от сына ради блага сына выглядел не расчетом разума, а подвигом самопожертвования, высшим проявлением человеческого духа: «Но ты свершил свой подвиг, мой отец».

Вторым событием переломного 1831 года была любовь. Влюблялся Лермонтов и раньше. В Катю Сушкову. В Натали Иванову. Но то, что произошло с ним в год первого взрослого горя, не походило на прежние увлечения.

Аким Шан-Гирей вспоминал:

«Будучи студентом, он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле воспитательную В.А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15–16; мы же были дети [Аким Шан-Гирей на четыре года моложе Лермонтова] и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: “У Вареньки родинка, Варенька уродинка”, но она, добрейшее создание, никогда не сердилась...»

Кроме пылкости, доброты и ясного, «дневного» ума, у Лопухиной был характер, который прежде всего и выделял ее, шестнадцатилетнюю девочку, только что привезенную из деревенской глуши, среди сверстниц.

Лермонтов несколько раз рисовал свою «мадонну», однако из всех портретов самым выразительным оказался словесный — в драме «Два брата». Пьесу он написал после мимолетной встречи с Варварой Александровной в декабре 1835 года, спустя полгода после ее внезапного и странного замужества, в завьюженных Тарханах, отгороженных снежными заносами от всего света:

«...Ее характер мне нравился: в нем видел я какую-то пылкость, твердость и благородство, редко заметные в наших женщинах... что-то первобытное, допотопное, что-то увлекающее. Я был увлечен этой девушкой, я был околдован ею; вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе».

Портрет «списан с натуры». Сходство подтверждают и стихи, посвященные Лопухиной в конце 1831 года. А главное — ее поэтический образ в стихотворении, написанном в начале 1832 года:

Она не гордой красотой
Пленяет юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых...

.....

Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос в душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.

Несмотря на серьезное увлечение милой соседкой, Лермонтов продолжает работать с необычайной интенсивностью. У него даже появились первые внимательные читатели. Из числа однокашников по университету и молодых людей лопухинского круга. Некоторые даже переписывают из его тетрадей целые поэмы. Кто-то из самых восторженных и «продвинутых» называет его «вторым Байроном». Отшучиваясь, Михаил Юрьевич иронизирует: вторых Байронов не бывает. И дело вовсе не в нежелании быть «вторым», пусть даже вторым Байроном. Дело в том, что он уже осознал и не по капризу или переменчивости характера, а так, как и обещал себе, — «через мышления и годы»:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Охладев к Байрону, «неведомый избранник» не забросил английскую поэзию. В зимнюю сессию по английской литературе получил высший балл, не менее успешно сданы и другие гуманитарные предметы. В том числе русская словесность и немецкий язык.

«Что кинул он в стране родной...»

И вдруг, не поставив никого в известность, даже друга первого и бесценного Алексея Лопухина и младшую его сестру, Михаил демонстративно не является на годовые испытания (в те годы они длились с 16 мая по 18 июня) и, не дожидаясь окончания летней сессии, подает прошение об отчислении из университета. Едва получив на руки документы (свидетельство о рождении и крещении изъято из Дела еще раньше, в апреле), он уезжает, практически бежит из Москвы в Петербург.

Внезапный этот отъезд породил множество предположений. Что Лермонтов якобы надерзил профессорам и ему открыто «посоветовали» уйти. Что за участие в знаменитой Маловской истории, подробно описанной Герценом в «Былом и думах», он попал в список неблагонадежных... Что Елизавета Алексеевна чуть ли не насильно увезла внука из Москвы, опасаясь, как бы его отношения с Варварой Лопухиной не зашли слишком далеко...

Ни одна из этих версий ничего не объясняет.

Маловская история случилась годом раньше и не только для Лермонтова, к ней прямого отношения не имеющего, но и для Герцена серьезных последствий не имела.

Надерзить профессорам Михаил Юрьевич физически не мог, поскольку зимнюю сессию сдал блестяще, а на летнюю не явился.

Вряд ли до такой степени беспокоили госпожу Арсеньеву и невинные амурсы внука с младшей лопухинской барышней. В планы влюбленных Елизавета Алексеевна не углублялась, была рада их радостью, и только, а в будущее не заглядывала, ибо, и справок не наводя, знала: за Мишу Лопухины Варвару не выдадут, даже если сама свахой пойдет...

Больше того, если б в выходе студента Лермонтова из Московского университета был хотя бы намек на политическую или какую иную неблагонадежность, путь в юнкерскую школу был бы для него закрыт навсегда, и никакие связи не помогли бы госпоже Арсеньевой одолеть это препятствие!..

И все-таки отъезд в Петербург был вызван именно политическими обстоятельствами. В ответ на польские события (осень 1831 года) университетское начальство отменило обещанный еще весной курс лекций Михаила Погодина по истории Царства Польского. Это решение вызвало бурные споры и ссоры в студенческой среде, что вовсе

не удивительно: польское возмущение развело даже Пушкина с Вяземским, что уж говорить о зеленой университетской молодежи! Лермонтов же не только устно, но и в пылких стихах восхищался мужеством поляков («Опять вы, гордые, восстали за независимость страны, // И снова перед вами пали самодержавия сыны...»), и не исключено, что кому-то из однокашников был известен его отклик на события в Варшаве. Во всем этом не было бы еще ничего опасного, если бы зимой 1831/32 года в университетских кругах не объявился провокатор — некто по фамилии Сунгуров. Человек со средствами, он взял за обыкновение зазывать к себе студентов попроще и победнее и, приласкав и накормив, исподволь заводил разговоры о том, что тайное общество, основные силы которого уничтожены в 1826, все еще существует и что глава его — генерал Ермолов. В качестве центрального выдвигался «польский вопрос». До дела, даже на уровне устава или программы, конечно же не дошло. Члены сунгуровского кружка — не кружка, каких-то домашних чаепитий, и думать не могли, что уютные их посиделки обернутся крупным политическим делом. Таким крупным, что им займутся высшие полицейские чины империи. А занявшись, доведут праздно болтающих мальчишек до тюрьмы, ссылки, до белой солдатской лямки... Расследование сунгуровского дела длилось необычайно долго. Один из знакомцев Лермонтова по университету Яков Костенецкий просидел под арестом, ожидая следствия, 20 месяцев! На допросы таскали всех, кто попадался под руку. Доведенные психической пыткой до полной растерянности, попавшие под допрос молодые люди могли назвать и действительно называли просто знакомых, просто замеченных в общении, даже формальном, с предполагаемыми «заговорщиками». Костенецкий и его друг Антонович практически ни за что были сосланы на Кавказ, в солдаты. Елизавета Алексеевна, потерявшая в подобной ситуации брата Дмитрия, гордость и надежду семьи, не только не хотела, но и не могла рисковать внуком, оттого и не пустила сдавать экзамены: береженого, дескать, и Бог бережет! Про все эти «обстоятельства», естественно, знали только двое. Бабка и внук. Даже от Акима причину бегства из Москвы Елизавета Алексеевна из понятной предосторожности скрывала. Для него, как и для остальных знакомых, была придумана другая, нейтральная версия: Мишенька-де по незнанию лекционного материала не сдал сессию, и вот теперь, дабы не потерять год, надо сломя голову мчаться в Петербург, успеть устроиться в столичный университет. Там, мол, всегда недобор, и есть надежда уломать ректора — принять без потери в курсе...

Конечно, Лермонтов мог и не согласиться с решением бабушки, но он и сам чувствовал, что в Москве ему тесно: «деятельный гений», возбуждаемый не *прекращающейся ни на минуту работой ума* («*Всегда кипит и зреет что-то // В моем уме*»), *требовал пищи*:

Без пищи должен яркий пламень
Погаснуть...

Пищи, то есть событий, движения, перемен, а главное — сильных психологических напряжений, словом, всего того, чего московская, обретшая «берега» жизнь не могла ему дать.

«Теперь я – воин...»

В начале августа 1832 года Елизавета Алексеевна с внуком уже в Петербурге. Столица Лермонтову не понравилась.

«Видел я, – пишет он московским друзьям, – образчики здешнего общества: дам, весьма любезных, молодых людей, весьма воспитанных: все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями...»

Между тем выясняется, что перевод из Московского университета в Петербургский — дело куда более сложное, чем они с бабушкой предполагали. Ректор отказался засчитать уже прослушанные в Москве учебные курсы. И Лермонтов, чтобы продолжить образование, поступает в двухгодичную Школу гвардейских подпрапорщиков и кавале-

рийских юнкеров, основанную по инициативе Николая I специально для молодых дворян, обучавшихся в университетах и частных пансионах и потому не получивших начальной военной подготовки.

Письмо Лермонтова к Алексею Лопухину, где он высказывал опасения, что военная служба может помешать литературной работе, не сохранилось. Однако отзыв подобных сомнений можно расслышать в письме к старшей из сестер Лопухиных — Марии:

«Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес неблагоприятному своему кумиру, и вот теперь я — воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и, если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди — это лучше медленной агонии старика. А потому, если начнется война, клянусь вам Богом, что всегда буду впереди».

Лермонтов хочет видеть за кажущейся случайностью своего выбора «особую волю провидения». Ведь если и в самом деле начнется война и ему удастся отпить и из этой «чаши», как чудно расширится пространство его опыта — и бытового, и душевного! Не нужно забывать и о том, что Лермонтов с детства был окружен профессиональными военными и, следовательно, рассказами и разговорами о войне. Афанасий Столыпин, брат бабушки, — герой легендарного Бородинского сражения. Близкий родственник, Павел Шан-Гирей, — ветеран кавказской эпопеи, «вечной войны».

К тому же, по понятиям тех лет, военное ремесло считалось занятием престижным, а Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — серьезным учебным заведением. Помимо специальных военных дисциплин, здесь изучали математику, географию, иностранные языки и судопроизводство. Среди обязательных предметов была даже теория словесности.

Поскольку у воспитанников школы не было особой формы и каждый носил мундир будущего полка, ее называли еще и «Пестрым эскадром». «Пестрый эскадрон» был известен своими вольностями. Даже самые строгие из наставников будущих офицеров никогда не забывали о том, что имеют дело со «сливками общества», с золотой — в прямом и переносном смысле — молодежью. А главное — с гвардией. Известно, что русская гвардия, институт, учрежденный Петром I, имела полное право на привилегированное положение. Без ее участия не обходился ни один дворцовый переворот. Руками преданных Екатерине II гвардейцев был свергнут и убит Петр III. Гвардия была силой, на которую опирались участники заговора против Павла I. С гвардией вынужден был считаться даже Николай I, хотя был злопамятен и всю жизнь помнил, что гвардейцы участвовали в восстании 14 декабря 1825 года.

И все-таки первый биограф Лермонтова Павел Висковатов, заставший в живых многих современников поэта, ничуть не преувеличивает, когда говорит о казарменных порядках, царивших в этой гвардейской школе. Не случайно и сам Лермонтов назвал годы, проведенные в училище, «страшными».

Экзамены на выдержку

В том, что годы, проведенные в лучшей военной школе империи, были страшными, Лермонтов признается лишь по выходе из нее, в бытность юнкером он не позволил себе ни одной жалобы. Кроме шуточной молитвы. Вот этой:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.

От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.

Школа научила Лермонтова, который еще недавно мог признаться товарищу, что «глаза каждую минуту мокры», умению владеть собой. Именно там, в юнкерской среде, закалилась его замечательная выдержка.

Первое испытание на выдержку Лермонтов сдал, едва переступив порог новой жизни. Как вспоминает один из курсантов, юнкер Лермонтов, чтоб показать ловкость в езде, сел на молодую, еще невыезженную лошадь, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Травма была настолько серьезной, что родные начали сомневаться, позволит ли изувеченная нога продолжить военную службу.

В училище Лермонтов смог вернуться лишь к середине апреля 1833 года, за полтора месяца до экзаменов, которые сдал блестяще. Несмотря на зиму, проведенную в постели, успешно выдержал он и испытание лагерной, бивуачной жизнью. Очувтившись вместе с двумя юнкерами в маленькой палатке, он впервые был поставлен перед необходимостью приспособиться к существованию в обществе с весьма своеобразными понятиями о правах и обязанностях своих членов. Вот что пишет по этому поводу его однокашник по «Пестрому эскадрону» Иван Анненков, брат известного литератора Павла Анненкова:

«Тем или иным путем, но общество или, иначе сказать, масса юнкеров достигала своей цели, переламывала натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было сделать, потому что одной личности нельзя же было устоять противу всех. Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом, не всегда были мягки, и если весь эскадрон невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера, которые не присоединялись к товарищам, когда между ними были какие-нибудь соглашения... Предметом общих нападков были вообще те, которые отделялись от общества с юнкерами».

Достаточно самого беглого знакомства с юношескими произведениями Лермонтова, чтобы представить себе, в какой трудной ситуации мог бы оказаться этот принципиальный индивидуалист. Ведь он потратил столько ума и воли и в пансионе, и в университете на то, чтобы устоять — против всех! Не слиться — со всеми! Не уподобиться — массе! Это отчуждение было настолько резко выражено в его поведении, что не осталось незамеченным сокурсниками. Вот каким вспоминает Лермонтова времен его студенчества некто Вистенгоф:

«Студент Л., в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания. Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций».

Казаться таким, как все

Естественным было бы предположить, что Лермонтов, не обделенный ни волей, ни характером, и в юнкерской школе займет ту же позицию по отношению к обществу. Противопоставит себя — всем. Этого не произошло. Однокашники Михаила Юрьевича вспоминают о нем с разной степенью приязни и понимания, но ни один не упоминает, подобно Вистенгофу, о «несходчивости» характера. В памяти юнкеров Лермонтов остался человеком как все, ничем особенным из юнкерской массы не выделяющимся,

Чем же можно объяснить такую перемену? Безошибочно верной реакцией на ситуацию, скорректированную «инстинктом самосохранения»? Отчасти. Это в университете Мишель мог, ничем не рискуя, навлечь на себя неприязнь всего факультета. Ответное невнимание вполне компенсировалось теплотой, сердечной заботой, в какую он окунался, когда возвращался после лекций домой, в заарбатский уют, на Малую Молчановку...

В школе подобный эксперимент становился рискованным. И удобнее, и проще стать таким, как все. Но для этого надо, во-первых, как можно глубже спрятать себя настоящего. Во-вторых, подогнать к нестандартной своей внешности и сущности костюм

и повадки типичного гусара. Остроумного. Бесшабашного. Пьющего, но не пьянеющего. Свято чтящего обычаи своего полка, вплоть до самых дурацких.

«Юнкерская молитва» да мимоходом оброненная фраза в письме к Марии Лопухиной — вот и все, что доподлинно, из первых рук известно о внутреннем самочувствии Лермонтова-юнкера. Однако, пользуясь косвенными свидетельствами, можно предположить, что страшными юнкерские годы поэта сделала отнюдь не утомительность строевой службы. При небольшом росте и отнюдь не идеальной фигуре Лермонтов, как и Жорж Печорин, был человеком сильного сложения или, как бы сказали сегодня, спортивного склада. Неутомимым. Выносливым. Умеющим приспособиться к лишениям и тяготам. А вот на парадировках, несмотря на физическую ловкость, он проигрывал — ибо не обладал качествами, необходимыми на кавалерийских смотрах: высоким ростом, импозантной внешностью и картинной выправкой. По тогдашним представлениям об искусстве верховой езды, наездник должен был быть красив на лошади.

Лермонтов не мог не сознавать, сколько теряет из-за невыгодной своей наружности, и конечно же стремился взять реванш. Всюду. Особенно там, где у него не могло быть неодолимых соперников. Как и в любой юношеской среде, в «Пестром эскадроне» особым пиететом были окружены те курсанты, кто умел на ходу сочинять забавные и не совсем пристойные стишки и так же быстро и смешно срисовывать с натуры. Так вот, менее чем через год Лермонтов — признанный юнкерский бард и один из первых карикатуристов гвардейской школы.

Для этого пришлось «переучить» и свое перо, и свой карандаш. А главное, перестроить, «переоборудовать» душу на новый — легкомысленный, а то и прямо циничный — лад. И он пошел на это. Опередив насмешников, стал первым над собой смеяться. Сам ввел себя в юнкерский фольклор под именем циничного, ловкого и сообразительного горбуна Маёшки. Маёшка — главный персонаж его юнкерских («Петергофский праздник», «Гошпиталь»), а затем и гусарских поэм («Уланша», «Монго»). По словам Евдокии Ростопчиной, известной в то время поэтессы и приятельницы Лермонтова, поэт получил прозвище Маёшка за внешнее сходство с персонажем карикатур французского художника Ш. Травье — непомерно большая голова при малом росте.

О том, как трудно давалась Лермонтову роль Маёшки, догадывались немногие. Одним из них был кавалергард Афанасий Синицын. Рассказывая В. Бурнашеву, тоже офицеру, о проделках «безобразника Маёшки», он счел необходимым сделать такое разъяснение:

«По его нежной природе, это вовсе не его жанр; он на себя его напускает, и все из-за какого-то мальчишеского удалства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар».

Выбранный Лермонтовым «жанр» в самом деле мало соответствовал его натуре. Это Синицын заметил и тонко, и точно. Однако выбор диктовался не просто «мальчишеским удалством». Даже желанием выжить в жестокой ко всем слабостям среде его не объяснишь. Камуфляж, то есть полное, до уподобления, вживание в роль, давал возможность «влезть в шкуру» человека *как все* — с тем, чтобы постигнуть его жизнь изнутри.

Кроме юнкерских поэм, Лермонтов, втайне от товарищей по «Пестрому эскадрону», и в школе продолжает писать для себя и свое, правда, интересы и вкусы его несколько изменились. Верный правилу: любое дело доводить до конца, он продолжает работать над начатыми еще в Москве вещами. Дописан «Измаил-Бей». Завершен «Хаджи Абрек» — итоговый вариант кавказской романтической поэмы. Продолжает «мучить» его и Демон — главный населенец мира (в юнкерские годы создана пятая редакция поэмы). И все-таки не эти произведения находятся теперь в центре его забот. Главная дума Лермонтова — век нынешний. Век, как он охарактеризует его несколько лет спустя в драме «Маскарад», — «блестящий, но ничтожный».

В плане новой творческой задачи (поворот к современному человеку и современности) в ином свете предстает и опыт юнкерских поэм. Да, «демон поэзии» обернулся в них «мелким бесом», и притом «из самых нечестивых» (так сказано в «Сказке для детей»). Однако именно здесь, в этих неприличных поэмах, представлены блестящие образцы бытовой живописи, исполненной средствами поэзии. До переезда в Петербург и поступления в юнкерскую школу обыденность как предмет для постижения и художественного освоения современной действительности Лермонтова решительно не привлекала. Одной из первых заметила перемену Евдокия Ростопчина, знавшая Лермонтова еще по Москве:

«...Живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью» (из письма к Ал. Дюма).

Словом, то, что могло оказаться несчастьем, обернулось благом. Юноша, выросший в оранжерейной обстановке, в тарханской и московской «теплицах», попал в самый омут жизни. Грубой. Кичащейся своей грубостью. Невыносимой для нежной души и тем не менее той и такой, какая и чувствовала, и осознавала себя нормой, столбовой дорогой, прямоезжим трактом, а не окольной тропинкой для одиноких путников! Жизни, которую Лермонтов, по словам поэта Ин. Анненского, любил «без экстаза и без надрыва, серьезно и целомудренно», ибо умел «стоять около жизни влюбленным и очарованным» — не сливаясь с нею и не воображая себя «ее обладателем».

Приключение с m-lle S.

Михаил Юрьевич Лермонтов был произведен в корнеты Лейб-гвардии гусарского полка 4 декабря 1834 года. Елизавета Алексеевна заранее заказала для него у лучшего столичного портного и вицмундир, и гусарскую, с белым султаном шляпу, и щегольскую шинель с бобровым воротником, но новоиспеченный гусар не дал милой своей бабушке налюбоваться им в новенькой форме: кинулся на свой первый петербургский бал, даже не представившись полковому начальству (в Царское Село, где расквартировали Лейб-гвардии гусарский полк, Лермонтов явится лишь к 13 декабря).

За первым балом последовал второй, за вторым — третий. Надвигались Рождество, Святки, Новый год — «зимних праздников блестящие тревоги». Бальный, маскарадный, театральный сезон — в самом разгаре. Но Елизавета Алексеевна не в обиде. Главное дело она осилила: Мишенька — офицер одного из самых блестящих гвардейских полков.

«Гусар мой, — писала Арсеньева в канун 1835 года родственнице по мужу Прасковье Крюковой, — по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку не много будет».

По странному стечению обстоятельств на первом же балу Лермонтов встретил Екатерину Сушкову — «мисс Блэк-айз».

Четыре года назад она смеялась и над ним, и над его стихами, и над его влюбленностью. Уж очень ей тогда нравилась роль красивой, взрослой, светской барышни, которая учит уму-разуму пятнадцатилетнего мальчика в детской курточке.

В своих «Записках» Екатерина Александровна рассказывает, как в августе 1830 года большая компания молодежи отправилась пешком в Троице-Сергиеву лавру.

Катенька чувствовала себя королевой и называла Лермонтова своим пажом. На паперти стоял нищий слепец. Услышав звон монет, падающих в его чашечку, он стал благодарить за подавание, а потом рассказал, как посмеялись над ним другие, тоже молодые, господа: насыпали вместо монет — камушки... В тот же день Лермонтов написал стихотворение «Нищий». Последняя строфа обращена к «мисс Блэк-айз»:

У врат обители святой
Стоял просящий подавня

Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

За случайной встречей последовали другие. Уже не случайные.

6 декабря 1834 года. Лермонтов на танцевальном вечере у Сушковых.

7 декабря. Лермонтов у Сушковых.

19 декабря. Лермонтов на балу встречается Сушкову (перерыв вызван поездкой по служебным делам в Царское Село).

21 декабря. Вечером у Сушковых.

22 декабря. Вечером у Сушковых.

23 декабря. Лермонтов и Сушкова на балу.

26 декабря. Лермонтов на балу у петербургского генерал-губернатора. Встреча с Сушковой.

О том, что стояло за этими бальными встречами, Лермонтов вроде бы рассказал в письме к Александре Верещагиной, своей дальней родственнице, приятельнице Лопухиных и подруге Сушковой:

«О моем житье-бытье... ничего интересного, если не считать таковым начало моих приключений с m-lle Сушковой, конец коих несравненно интереснее и смешнее. Если я начал за нею ухаживать, то это не было отблеском прошлого. Вначале это было просто развлечением, а затем, когда мы поладили, стало расчетом. Вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого есть какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, связи... Я увидел, что, если мне удастся занять собою одну особу, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что m. S., желая меня *изловить* (техническое слово), легко себя скомпрометирует со мною. Вот я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя. Я публично обращался с нею, как если бы она была мне близка, давал ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня. Когда я заметил, что мне это удалось, но что один дальнейший шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего, в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежен, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый открыто ее покинул. Я стал с нею жесток и дерзок, насмешлив и холоден, стал ухаживать за другими и (под секретом) рассказывать им выгодную для меня сторону этой истории. Она была так поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась и друзьям и недругам уязвленной любовью. Далее, она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью; рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, — я не вернулся к ней. ...Когда я увидел, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел прелестное средство — написал анонимное письмо: “m-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный... и т. д., я предупреждаю вас: берегитесь молодого человека: М.Л. Он вас соблазнит, и т. д.”... Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме — гром и молнии... На другой день еду туда рано утром, чтобы наверняка не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей самой. Она сообщает мне страшную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения, я все отношу на счет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что родные запрещают ей говорить и танцевать со мною: я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетушки. Так шло это трагическое приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщины всегда прощают зло, которое мы причиняем другой женщине (сентенции Ларошфуко)».

Приключение с Катиш Сушковой изложено не просто подробно, а сверхподробно, однако из него выпало самое важное звено — Алексей Лопухин, брат Марии и Варвары, университетский друг Лермонтова.

Алексей был влюблен в Сушкову. Давно, с того самого лета 1830 года, когда столичная барышня кружила головы московским увальням. Вряд ли он нравился самоуверенной кокетке: и не ловок, и не блестящ. Однако к зиме 1834/35 года положение изменилось. После смерти отца молодой Лопухин оказался сам себе хозяином и весьма богатым для бесприданницы Сушковой женихом.

И вот теперь он ехал в Петербург с самыми серьезными намерениями — чтобы сделать Екатерине Александровне официальное предложение, а в Москве об этом никому, кроме Александры Верещагиной, не известно. О планах друга ничего не знал и Лермонтов, во всяком случае, до вечера 4 декабря 1834 года, когда «мисс Блэк-айз» под страшным секретом сообщила ему эту новость. До приезда Алексея Лопухина оставалось около двадцати дней.

Четыре года назад Лермонтов восхищался красотой Екатерины Александровны. Теперь он видел ее насквозь:

«Эта женщина — летучая мышь, крылья которой зацепляются за все встречное... Есть что-то такое в ее манерах, в ее голосе грубое, отрывистое, надломленное, что отталкивает» (из письма к М.А. Лопухиной).

И Лермонтов, на свою ответственность, расстроил гибельный и для Алексиса, и для осиротевших его сестер брачный союз.

Зашифрованная исповедь

Слухи о том, что у Мишеля «роман» с «мисс Блэк-айз», долетел до Москвы с необычайной быстротой: в пору зимних праздников количество путешествий из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург резко увеличивалось.

Лермонтов счел необходимым объяснить с Марией Александровной, а через нее — с Варварой Лопухиной:

«Любезный друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; ибо это значило бы порвать последние нити, связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на вид, в сущности, пошла и пуста. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и неудачными шагами на жизненном пути; мне или не представится случай, или не достанет решимости. Мне говорят: случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретется временем и опытностью!.. А кто поручкою, что, когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной, молодой души, которою Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от выжидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем, что в жизни заставляет нас двигаться вперед? Таким образом, я начинаю письмо *исповедью*, право, без умысла! Пусть же она послужит мне извинением: вы увидите, по крайней мере, что, если характер мой несколько изменился, сердце осталось то же. Лишь только я взглянул на ваше последнее письмо, как почувствовал упрек, — конечно, вполне заслуженный... Я теперь бываю в свете... для того, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем *обществе*... Ах! Я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости... Вы думаете, что за то меня гонят прочь? О нет! Напротив: женщины уж так сотворены. У меня появляется смелость в отношениях с ними. Ничто меня не смущает — ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое холодно... Не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это хвастовство... этим я ничего не выиграю в ваших глазах. Я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; потому что только вы одна меня пожалеете, не унижая, так как и без того я сам себя унижаю. Если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал... О, как бы желал я опять вас увидеть, говорить с вами: мне благотворны были бы самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами, а теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающееся смертью!..

...Мне бы очень хотелось с вами повидаться: простите, в сущности, это желание эгоистическое; возле вас я нашел бы себя самого, стал бы опять, каким некогда был, доверчивым, полным любви и преданности, одаренным, наконец, всеми благами, которых люди не могут у нас отнять и которые отнял у меня сам Бог!»

Михаил Юрьевич уверяет дорогую Мари, что его послание к ней — исповедь. Но исповедь исключает дипломатию, а лермонтовское послание — верх дипломатического искусства, ведь он должен объяснить необъяснимое — почему сам, по своей воле, отказывается от любимой, от счастья, от всего того, что не могут отнять люди, в том числе

и от себя прежнего — доверчивого, полного любви и преданности! Тут и не захочешь, а вспомнишь, вслед за Блоком, о необходимости расшифровывать Лермонтова:

«Когда роют клад, прежде разбирают смысл *шифра*... Лермонтовский клад стоит упорных трудов».

В данном случае *ключом к шифру* является, на мой взгляд, уже цитированная «Молитва» 1829 года, точнее, ее концовка:

От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.

Михаил Юрьевич отнюдь не из подражания общепринятому поэтическому политесу называл Варвару Лопухину «мадонной»: любовь к ней, в чисто человеческом плане, была спасением, и, как ни щекотливы разделявшие их обстоятельства (родные Варвары Александровны, прекрасно относясь к Мишелю, явно не расположены к нему в качестве «жениха»), — это препятствие, при желании, все-таки можно было преодолеть, особенно теперь, когда хозяином в доме стал его задушевный друг. Возможность счастья отнимали и в самом деле не люди и их претензии, а «страшная жажда песнопенья». Жажда, которую не могло утолить ни одно из земных благ. Даже союз с девушкой, к которой тянулось все лучшее, что было заложено в его существе. А ведь в тот момент, в канун рождества 1835 года, поэт вовсе не уверен, что сможет реализовать заложенный в нем потенциал гениальности, не знает, на что меняет любовь. Может быть, на пустые мечтания? На дешевое холостяцкое гусарство и недорогие лавры гвардейского барда? Убеждая Мари, что «сердце его осталось то же», он, видимо, рассчитывает, что Лопухины угадают невысказанную просьбу: отложить решение судьбы Варвары до его приезда. Не торопиться, подождать, пока он получит офицерский отпуск. Пусть хотя бы до тех пор все останется по-прежнему! Пусть ничто не переменится на Молчановке!

Эта тайная мольба об отсрочке, о великодушии безрассудна и находится в вопиющем противоречии с тем, чего автор дипломатического послания, казалось бы, добивается с такой волей и выдержкой. Но в этом противоречии нет ничего необъяснимого, если видеть в нем одну из тех загадок, какие так любит загадывать «грозный», «чуждый» уму — «дух»! Вспомним эпизод из «Героя нашего времени», когда Печорин, после дуэли, получает прощальную записку от Веры.

«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса... и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск... Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж споткнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Эссентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю!.. Я... упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк...

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться».

Тут суть не в сентенции: «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно». Сентенция принадлежит рассудку, уже приведшему мысли в будничные порядки, когда все уже опять подвластно уму и воле, когда поступками правят твердость и хладнокровие. Суть в изображении того, что происходит с человеком, когда он, силою безрассудной

страсти, оказывается выброшенным из привычного в невероятное. Казалось бы, все другое: и ситуация, и характеры. А внутреннее движение души, вырвавшейся из-под власти рассудка, то же, что и в письме к Лопухиной!

В. Грехнев, автор работы о «Княгине Лиговской», подметил весьма своеобразную особенность стиля этого романа: «Внешние движения персонажа, внешняя логика его поступков уже не опредмечивают (как это было в русской прозе долермонтовского периода) течение человеческих переживаний сколько-нибудь определенно и недвусмысленно. Скорее напротив: они маскируют эмоции. Взору доступна лишь обманчиво спокойная “поверхность” душевного потока, глубинные же струи его не выходят наружу».

И далее: «Лермонтовское психологическое описание если и не разрывает окончательно связи поступка и переживаний, то во всяком случае показывает непрямую линейность, неоднозначность этих связей».

Все сказанное приложимо и к письмам Лермонтова к Марии Лопухиной и Александре Верещагиной: по тонкости психологических нюансов они не уступают лучшим страницам «Героя нашего времени». Именно здесь разрабатывал Лермонтов свой метод преобразования житейского факта, а заодно и проверял, достигает ли цели исповедь, маскирующая истинные чувства, исповедь, где описание поступков не связано прямо с душевным движением, а только намекает на него, и, чтобы разгадать намек, от адресата требуется умение читать не просто слова, но и то, что эти слова по тем или иным причинам маскируют. Поэтому Лермонтов и упоминает о нотах, которые следовало бы ставить над словами.

Невосполнимая потеря

Мария Лопухина была недостаточно догадлива, чтобы прочитать сказанное между строчками, но достаточно разумна, чтобы понять: один прощальный поцелуй ничего не изменит ни в судьбе ее младшей сестры, ни в судьбе «дорогого Мишеля».

Господин Бахметев посватался.

Предложение было принято.

По всей вероятности, мы никогда не узнаем, к каким аргументам прибегли родные «Вареньки-уродинки», чтобы получить ее согласие на брак с человеком, который ни при каких обстоятельствах не мог рассчитывать на ее сердце, но мы имеем некоторое основание предполагать, учитывая характер дальнейших отношений Лермонтова с семейством Лопухиных, что особого нажима не было. Скорее всего, решение приняла сама Варвара Александровна. Выходя замуж за сорокалетнего, малоинтересного Бахметева, она всех освобождала: Мишеля — от каких-либо обязательств, родных — от забот о ее судьбе, себя — от соблазнительных надежд на новую встречу и новое чувство; выходила замуж — как уходит в монастырь: чтобы не нарушить полудетской клятвы, остаться верной единственной — на всю жизнь — любви. Видимо, и в самом деле была умна, и притом не рассудком — душою. В «Сказке для детей» поэт даст описание такой души:

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много — только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы — им в жизни нет уроков;
Их чувствам повторяться не дано...
Такие души я любил давно
Отыскивать повсюду на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде.

Однако «Сказка для детей» написана позже, в 1839 или даже 1840 году; в 1835 Лермонтов истолковал внезапное замужество Варвары как банальную «измену».

Аким Шан-Гирей вспоминает:

«Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал читать его, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить его, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: “Вот новость — прочти” и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве Лопухиной».

И встала обида! Лермонтов открыто говорит, что брак Лопухиной и Бахметева сладили деньги — «серебро», господин «милion». Вот что пишет он Верещагиной, стараясь довести через нее до сведения Лопухиных свою оценку случившегося:

«Госпожа Углицкая ...мне также сообщила, что m-lle Varbe выходит замуж за г. Бахметева. Не знаю, верить ли ей, но, во всяком случае, я желаю m-lle Varbe жить в супружеском согласии до *серебряной* свадьбы».

Видимо, и письмо-то пишется для того, чтобы сделать язвительный и несправедливый намек: Варвара Лопухина бесприданницей не была. Но он ослеплен болью, помноженной на обиду, когда уже невозможно понять, кто прав и кто виноват, когда судит не здравый смысл, а чувство невосполнимой — навеки! — потери.

Пружина огромного предприятия

Ранняя весна 1835 года. В Москве, в доме Лопухиных, готовятся к предстоящей свадьбе, а в петербургской квартире Арсеньевой — беспорядок и суматоха: Елизавета Алексеевна уезжает в Тарханы (гвардейская служба внука требует денег, и немалых, а значит, и ее личного, пристрастного надзора над ходом хозяйственных дел в пензенском имении).

Это была их первая разлука. Мишель переносил ее болезненно.

«Не могу выразить, — писал он московской кузине, — как меня печалит отъезд бабушки. Перспектива в первый раз в жизни остаться одиноким меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною искренне интересовалось».

Совершеннейшим одиночеством отъезд Елизаветы Алексеевны Лермонтову, конечно, не угрожал. При нем оставался дальний родственник Николай Юрьев. К той же поре относится начало его дружбы со Святославом Раевским, человеком серьезным и деятельным. Будучи старше Мишеля на шесть лет, Святослав по окончании университета служил в департаменте, а свободное время отдавал изучению социально-политических наук. После отъезда Арсеньевой он переехал в нанятую ею квартиру (Святослав Афанасьевич был внуком подруги ее молодости, и Елизавета Алексеевна считала своим долгом оказать ему гостеприимство: родных в Петербурге у него не было. Кроме того, Арсеньевой хотелось оставить при внуке надежного человека — Раевский же был надежен: и опекун, и учитель, и друг).

И тем не менее Мишель искренне опечален отъездом бабушки: ее любовь и заботу не может заменить даже общество умных и расположенных к нему товарищей. Однако Лермонтов сумел извлечь пользу и из этого обстоятельства. Одиночество помогло «завести пружину» огромного предприятия. Он затеял «Маскарад». «Маскарад», в отличие от юношеских драм, с самого начала предназначался для постановки на театральной сцене: надо же доказать «предавшим» его Лопухиным, что их маленький Мишель способен на большее, чем пописывание стишков — стишки в ту пору сочиняли все, даже его двоюродные деды — Столыпина. Нет, стихи, пусть и опубликованные, как «Хаджи Абрек», но не замеченные ни критикой, ни читателями, ничего не прибавляли, не убавляли, не оправдывали претензий на исключительную судьбу, тех «авансов», какие он выдавал себе сам, когда писал:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества или гибели моей.

Иное дело — драма! Разумеется, принятая столичным театром.

В нашем нынешнем представлении Михаил Юрьевич Лермонтов прежде всего поэт и прозаик. «Маскарад» так и остался пьесой второго плана, уступив пальму первенства

«Горю от ума» и «Ревизору». Но тогда, весной 1835 года, уверенней всего Лермонтов чувствовал себя именно в драматургии, к тому же он и сам обладал актерским даром. (Современники пишут о нем: «В высшей степени артистическая натура».) Софья Карамзина, дочь знаменитого писателя и историка, увлекавшаяся театром, познакомившись с Лермонтовым, сразу заметила в нем артистическую жилку и предложила принять участие в затеянных ею постановках. В одной пьесе Михаил Юрьевич должен был играть купца, в другой — ревнивого мужа.

Страсть Лермонтова к театру была наследственной. Крепостной театр, известный на всю Москву, содержал прадед поэта по матери Алексей Столыпин. Театр был слабостью и деда, Михаила Арсеньева. Да и среди эстетических впечатлений детства, имевших над Лермонтовым огромную власть, самое раннее и самое долгодействующее — впечатление от театральной постановки оперы Кавоса «Невидимка». Зрелище поразило воображение ребенка и не могло не поразить, ибо было зрелищем в самом прекрасном смысле слова — с хорами, балетами, волшебными превращениями:

«Стол, превращающийся в огненную реку, дуб, разделяющийся на две части, из коего вылетает Полель на облаке, мост, по коему проходят черные рыцари, чрез всю сцену, который потом разрушается, слон, механически устроенный, натуральной величины, на коем Личардо превращается в разные виды; вырастающая рука Цымбалды, гора, превращающаяся в море, куст, из коего делается грот, храм, занимающий всю широту сцены и спускающийся на облаках с ... группою Гениев и Амуров, позади коего видна прозрачная радуга», и т. д., и т. д.

«Невидимка», напоминаю, — единственное развлечение, какое позволил себе Лермонтов-подросток, когда его привезли в Москву для поступления в пансион. Для театрального представления, где актерами были самодельные восковые куклы, начал он и сочинять пьесы. Короче, мир театра был Лермонтову куда ближе, чем мир журнальной литературы, уже ставшей на европейский, коммерческий путь. А кроме того, в те годы в образованных слоях русского дворянства и даже в великосветских аристократических кругах театр был модным развлечением. Театралом считал себя даже первый дворянин Российской империи Николай I. Комедиограф П. Каратыгин замечает в своих «Записках»:

«Вот что происходило в Гатчине, в 1839 или 1840 г., по рассказам тех лиц, которые были тогда там. Государю было угодно устроить домашний спектакль, и он для этого выбрал пьесу, сам роздал роли и присутствовал на всех репетициях».

По словам участвовавших в этой пьесе, репетиции были самым веселым проведением времени, на каждой очередной репетиции придумывали новую шутку или остроту; а «государь многих поправлял, учил и вообще принял на себя роль режиссера». К довершению эффекта Николай незаметно ушел за кулисы, накинул на себя серую шинель и явился на сцену квартальным надзирателем. Этот сюрприз до того рассмешил и императорскую семью, и всех действующих лиц, что от всеобщего хохота едва могли кончить пьесу. На память об удачном спектакле царь сделал подарки «женскому персоналу», каждый — с надписью на имя действующего лица в пьесе, фрейлина Надежда Бертенева, например, получила в подарок золотой браслет с бриллиантом и с надписью: *Софье Гордеевне, Гатчина*, такого-то года, месяца и числа.

«Резкая критика на современные нравы»

В беседе с одним из петербургских приятелей Лермонтов так охарактеризовал замысел «Маскарада»: «Комедия, вроде «Горя от ума», резкая критика на современные нравы».

Светский знакомый Арбенина (главного героя драмы) молодой офицер князь Звездич, рассказывая о маскарадном приключении, показывает Арбенину подаренный «маской» браслет — знак «победы». Арбенин узнает в золотой безделушке вещицу жены, Нины, но тут же отмечает мелькнувшее подозрение. Через некоторое время между тем выясняется, что Нина и в самом деле была на том же костюмированном балу, что и князь. Домой она вернулась позже обычного и без браслета. Потерянное Ниной украшение

по несчастливой случайности нашла ее приятельница, баронесса Штраль; она-то и подарила браслет князю, не узнавшему ее под маской.

Но этого никто — ни Нина, ни Звездич — не знает.

Арбенин оказывается перед дилеммой. Чему верить? Сердцу, убежденному, что Нина — «ангел красоты» — не может вести себя как заурядная светская женщина? Или холодному разуму, мнящему себя непогрешимым, но зараженному предрассудками света? Что предпочесть? Истину, не располагающую вещественными доказательствами своей истинности? Или улику (браслет), не соответствующую истине?

Побеждает рассудок и покорность общему мнению; «улика» оказывается сильнее врожденного «чувства правды». Арбенин, крупный, независимый человек, сам того не замечая, начинает рассуждать *как все*. В этом драматизм основной коллизии «Маскарада», в этом трагедия главного героя пьесы.

Убедив себя, что Нина виновна, Арбенин отравляет жену — любимую и любящую — и думает, что мстит свету. На самом деле это свет мстит Арбенину за незаурядность и превращает его в «игрушку» маскарадных затей и развлечений.

Первая, не дошедшая до нас редакция «Маскарада» была трехактной и кончалась смертью Нины. Цензура сочла это прославлением порока: злодей-отравитель жив, а его жертва, идеал добродетели и невинности, умирает? Кроме того, в отзыве цензора содержался «ценный совет»: непременно кончить пьесу примирением супругов.

На переделку ушло чуть больше месяца. Лермонтов значительно переработал пьесу. Новый вариант был проще, но сценичнее: Арбенин, узнав от Неизвестного, что жена его невинна, сходит с ума. А вот от совета примирить Арбениных автор отмахнулся, сочтя его необязательным. Переделки не спасли «Маскарад». Наказание показалось цензору недостаточным, а поведение автора, пренебрегшего указаниями цензуры, — неприличным и дерзким.

По возвращении из отпуска Лермонтов снова примется за «Маскарад». Перекроит до неузнаваемости. Даст новое название — «Арбенин» и еще раз сделает попытку поставить его. Никогда он не был так настойчив в достижении цели: пробиться на сцену столичного театра с современной пьесой. Любой ценой, даже ценой уступок цензуре. Первый и единственный раз в случае с «Маскарадом» прибег он и к протекции. Литератор Андрей Николаевич Муравьев, хороший знакомый Е.А. Арсеньевой, вспоминает, что Лермонтов очень просил его убедить своего родственника Мордвинова, в ту пору начальника цензурного комитета, быть снисходительным к «Маскараду». (Михаил Юрьевич наивно полагал, что от главы цензоров зависит, быть или не быть пьесе на сцене.)хлопоты не помогли, Мордвинов наотрез отказал, ибо слишком хорошо знал своего непосредственного начальника, шефа жандармов Бенкендорфа, главный жизненный принцип которого был: служить не империи, а императору. Император же отличался болезненной мнительностью, его задевал любой намек, даже такой косвенный, как в «Маскараде», где одна из героинь говорит: «Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд». Имеется в виду роскошный дом на Невском проспекте, принадлежавший богачу Энгельгардту, в 30-х годах XIX века там регулярно устраивались публичные (платные) маскарады, очень популярные в Петербурге. А популярными они были потому, что у Энгельгардта любил появляться сам император, бывала там (мужа не спросясь) и императрица, каково же царственной чете услышать, да еще и от никому не известного сочинителя, что они не брезгают якшаться со «всяким сбродом»!

Отпуск по домашним обстоятельствам

1836 год Лермонтов, как и предполагалось, встретил в Тарханах, вдвоем с Елизаветой Алексеевной. Бабушка была вне себя от радости.

«Милый и любезнейший друг, — писала она постоянной своей корреспондентке Прасковье Крюковой, — дай Боже вам всего лучшего, а я через 26 лет в первый раз встретила Новый год в радости: Миша приехал

ко мне накануне Нового года. Что я чувствовала, увидя его, я не помню, и была как деревянная, но послала за священником служить благодатный молебен. Тут начала плакать и легче стало».

И дальше, в том же письме:

«В страшном страдании была, обещали мне Мишеньку осенью еще отпустить... Я все думала, что он болен и оттого не едет, и совершенно страдала. Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, но я себя извиняю: он один свет очей моих, все мое блаженство в нем, нрав его и свойства совершенно Михаила Васильича, дай Боже, чтоб добродетель и ум его был».

В том, что через двадцать шесть лет после самоубийства Михаила Васильевича Елизавета Алексеевна, преображенная любовью к внуку, помягчала к «беспутному» и «странному» мужу, — ничего удивительного нет. Удивительным было то, что при всем своем здравомыслии сумела угадать за «безумным» и «безнравственным» его концом «ум и добродетель», а угадав это, понять, что и внук, как и покойная дочь, — существо той же, чуждой столыпинскому здравочувствию, арсеньевской породы: «Нрав его и свойства совершенно Михаила Васильича». А ведь еще совсем недавно Елизавета Алексеевна и несомненного сходства внука с дедом, и наследственного предрасположения к «пламенным страстям» не то чтобы не видела, — старалась не замечать, все еще надеясь, что «страсти», отнявшие у нее мужа и дочь, минуют Мишеньку. Потому и поощряла дружбу с племянником, покойного Аркадия сыном — Алексеем («Монго»), бонвиваном и добрым малым, потому и «шалостям» потворствовала. Была ли она в курсе всех его литературных забот и мечтаний, мы не знаем, но написанное Мишенькой читала, хотя, видимо, как и все Стольпины, относилась к стихам не слишком серьезно, во всяком случае, поначалу живописными его способностями гордилась куда больше. Впрочем, может быть, потому, что предчувствовала: из всех страстей, какими Бог, к несчастью, наградил ее внука, страсть к поэзии — самая беспокойная.

Но пока все шло как нельзя лучше. Напечатали «Хаджи Абрека» — и ничего страшного не произошло.

«Стихи твои, мой друг, — с облегчением писала она внуку, имея в виду только что опубликованную поэму, — бесподобные, а лучше всего меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви, и невестка сказала, что Афанасию понравились стихи твои и очень хвалил».

Афанасий, брат младший и любимый, был «сто процентным» Стольпиным, и его одобрение в представлении Елизаветы Алексеевны словно бы гарантировало: с Мишенькой ничего ужасного — в духе Михайлы Васильевича — не случится: хоть и нарекли в честь покойного деда, да авось столыпинское здоровое и дельное начало поборет, осилит бешеную арсеньевскую кровь.

Стояли морозы. Такой жестокой зимы давно не было в пензенских краях... «Снег в сажень глубины, лошади вязнут... и соседи оставляют друг друга в покое», — писал Лермонтов из завьюженных Тархан в Петербург Раевскому.

Раевский, которому он, уезжая, поручил вести переговоры о «Маскараде», упорно молчал. Михаил Юрьевич догадывается о причине:

«Я опасуюсь, что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание»...

Неудача с «Маскарадом» не расхолодила Лермонтова, наоборот, разгорячила деятельное его честолюбие. Пушкин в 22 года уже знаменит на всю Россию. А у него один «Хаджи Абрек»! И где? В «Библиотеке для чтения», журнале пестром и не слишком авторитетном.

Выход? Работать. Работать. И Лермонтов работал.

Убедившись, что «Маскарад» не протащить сквозь рогатки театральной цензуры, он возвращается к прозе: начинает новый роман — «Княгиню Лиговскую».

Дело Владимира Печерина

Поздней осенью 1836 года, как раз тогда, когда Лермонтов затеял «Княгиню Лиговскую», в московских, а потом и в петербургских гостиных заговорили о «деле Печерина».

Владимир Сергеевич Печерин по окончании Петербургского университета как специалист по классической филологии был откомандирован за казенный счет за границу. По возвращении он некоторое время преподавал в Московском университете. В Москве Печерин смертно затосковал. Ощущение бесперспективности было хорошо знакомо и Лермонтову. С особой болью и силой выражено оно в «Думе» (1838):

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.

Владимир Печерин не захотел смириться с подобной участью, попытался избежать общей для думающих русских людей 30–40-х годов XIX века «темной» и «пустой» будущности, в июне 1836 года уехал из России, чтобы никогда не возвратиться.

«Кажется, ваша история наделала там (в Петербурге) много шума», — говорит в «Герое нашего времени» Григорию Печорину доктор Вернер. История Владимира Печерина также наделала немало шума. Разочаровавшись в европейском революционном движении, он перешел в католичество, принял монашеский сан. Был миссионером в Ирландии, а дни свои кончил капелланом больницы для бедных в Дублине.

Ничего этого Лермонтов, разумеется, не знал. Поразительные метаморфозы в судьбе Печерина произошли уже после гибели поэта. В глазах Лермонтова и вообще людей его поколения и круга — это был человек, взбунтовавшийся против непреодолимых обстоятельств, который сам, по своей воле распорядился своим грядущим. Особо, отдельно, не так, как все.

Не так, как все, чувствует и думает и лермонтовский Печорин. Правда, в Жорже Печорине, каким он предстает в «Княгине Лиговской», мы только угадываем человека, способного восстать из «ничтожества». Иное дело «Герой нашего времени». Здесь впрямую рассмотрен единственно возможный в лермонтовское время вариант сопротивления существовавшему порядку вещей: тайная свобода ума и духа внутри государственной несвободы.

У нас, конечно, нет прямых доказательств, что, задумав роман в «новом вкусе» и сделав главным героем человека, вынужденного скрывать под «холодной корой» и свою настоящую «природу», и свой характер, и свою волю, Лермонтов имел в виду именно Владимира Печерина. Одно несомненно: инцидент, встревоживший весь Петербург — и официальный, и неофициальный, — не мог пройти мимо Лермонтова. Не разбудить в нем «думы». Он был готов «гоняться за приключениями», а тут из ряда вон выходящее событие! «Сильное». Даже «потрясающее».

Работа над «Княгиней Лиговской» была в самом разгаре, когда (27 января 1837 года) по Петербургу полетела черная весть: Пушкин опасно ранен на дуэли с французом Дантесом. В тот же вечер стали циркулировать слухи и о его смерти. Ночью Лермонтов написал первые 56 строк «Смерти поэта», а Святослав Раевский их размножил. Поэтический некролог опередил горестное событие почти на сутки. 28 января Пушкин был еще жив, он скончался на следующий день в 2 часа 45 минут пополудни. К этому часу весь Петербург уже твердил наизусть «энергическую оду» Лермонтова. Иван Панаев свидетельствует:

«Стихи Лермонтова... переписывались в десятках тысяч экземпляров и выучивались наизусть всеми».

Дошли они, разумеется, и до шефа жандармов, но Бенкендорф поначалу не дал скандальному происшествию ходу — и по полуродственным отношениям со Стольпинским кланом, а больше по нежеланию лишний раз привлекать внимание государя к особе

покойного. К тому же в первой части «Смерти поэта» главным обвиняемым был француз, а французов и сам Бенкендорф, и его царственный начальник император Николай недолюбливали — за учиненные ими революционные «безобразия». Да и участь Жоржа Дантеса была уже высочайше определена: исключить из списочного состава Кавалергардского полка и выслать из России.

Прошло десять дней. Александр Иванович Тургенев успел отвезти тело убиенного в Святые Горы и похоронить его там, на монастырской земле, неподалеку от любимого им Михайловского, а город продолжал волноваться, и к Лермонтову, с середины января хворавшему, стекались толки. Дамы света на стороне Жоржа Дантеса, дескать, Пушкин — не молодой, не богатый и не красивый — не смел и требовать от красавицы жены ни любви, ни верности. Впрочем, осуждали почившего не только модные дамы. Даже бабушка Михаила Юрьевича считала: Пушкин сам во всем виноват. По своей охоте сел не в свои сани... С Елизаветой Алексеевной Лермонтов не спорил, ибо в глубине души был почти согласен с милой бабушкой: Пушкин и впрямь жил не так, как должен жить *дивный гений*. Про это и в оде на его смерть написал:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей!..

Но кто живет как должно, а не как получается?..

Встревоженная не на шутку здоровьем внука — простуда длилась уже месяц — как бы гнилой горячкой не кончилось? — Елизавета Алексеевна упросила лучшего в Петербурге врача лейб-медика Арндта осмотреть Мишеля. Добрейший Николай Федорович, хоть и сам был чуть жив, просьбу госпожи Арсеньевой, «женщины замечательной по уму и любезности», уважил, но кроме нервного возбуждения и затянувшегося повторного гриппа ничего не нашел. А за чаем, уступая настойчивым просьбам, по минутам поведал трагическую эпопею — Пушкин умирал на его руках... Не успел доктор уехать, как появился Николай Столыпин, родной брат Алексея Монго. Избравший дипломатическое поприще, Николай Аркадьевич работал под началом самого Нессельроде (министра иностранных дел) и крайне этим гордился; новости, им привезенные, выражали мнение людей большого света и большой политики. Оказывается, в придворных кругах уже гадали, как долго будет Наталья Николаевна носить траур, а среди дипломатов множились ряды недовольных высылкой Дантеса. Николенька Столыпин как дипломат сие мнение вполне разделял: дескать, господа Геккерны как знатные иностранцы не подлежат ни законам, ни суду русскому. А кроме того, — рисуясь солидностью, рассуждал только что произведенный в камер-юнкеры Столыпин, — Дантес после того, что произошло между ними, не мог не стреляться. И тут уж Лермонтов не выдержал — взорвался. Правильный братец неправильного Алешки Монго недаром пошел по дипломатической части: мигом перевел разговор, заулыбался, заобнимался, не дал разгореться внутрисемейной ссоре. Но Михаил Юрьевич в необязательном, на домашние темы разговоре уже не участвовал — забился в дальний угол гостиной... А после ухода Столыпина вдруг успокоился, придвинулся ближе к свету и быстро переписал набело только что сочиненные последние 16 строк «Смерти поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Поздно вечером, вернувшись из гостей, Святослав Раевский размножил и эти строки, а утром пустил их по уже опробованным надежным каналам. Петербург опять заволновался. 13 февраля Александр Тургенев, посылая список «Смерти поэта» Псковскому губернатору, уже знает, что по рукам ходят еще более резкие строки, но полагает, что их сочинил не Лермонтов, а кто-то другой. В отличие от Тургенева профессионалы сыска в авторстве nepозволительного добавления разобрались моментально: уже 17 февраля Лермонтов арестован и помещен в одну из комнат Генерального штаба — дабы сподручнее было вести расследование.

Первую часть «Смерти поэта», как уже упоминалось, Бенкендорф счел за лучшее не заметить. Добавленные шестнадцать строк изменили намерения шефа жандармов: в смерти Пушкина Лермонтов обвинял уже не одного Дантеса, а ближайших сподвижников русского царя. И не только обвинял, он угрожал им «Божьим судом»! 19 февраля 1837 года Бенкендорф доложил императору о чрезвычайном происшествии — распространении по столице стихов Лермонтова на смерть Пушкина:

«Вступление к этому сочинению дерзко, а конец бесстыдное вольнодумство, более чем преступное».

Вступлением Бенкендорф называет эпиграф из трагедии Ж. Ротру «Венцеслав». Это было прямое обращение к царю в форме требования, а не смиренной просьбы: «Отмщенья, государь, отмщенья!.. Будь справедлив и накажи убийцу».

Вызов

Будучи арестован по делу о «непозволительных стихах», Лермонтов утверждал в объяснительной записке, что его поступок был не сознательной акцией, а движением души, проявлением «врожденного» «чувства защитить всякого невинно осужденного»:

«Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастью, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и по необдуманности не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их как новость другому, и, таким образом, они разошлись... Сам я их никому больше не давал, но отречься от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: ПРАВДА всегда была моей святыней, и теперь, привнося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божиим».

Если читать только эти строки и не видеть ничего за ними, можно предположить, что автор непозволительных стихов либо пытается обмануть людей в «голубых мундирах», либо действительно раскаивается.

«Во мне два человека, — признается Печорин в «Герое нашего времени». Два человека было, видимо, и в Лермонтове. До 1837 года они жили в относительном согласии. Смерть Пушкина впервые нарушила его. Лермонтов-первый, Мишель, Мишенька, двадцатидвухлетний гусар, «бабушкин баловень», — почти готов если и не отречься, то раскаться: повинную голову меч не сечет. Он, кажется, смущен собственной дерзостью. Лермонтов-второй и мыслит, и решает иначе. Уже то, что он разрешил Раевскому показывать стихи на смерть Пушкина всем, кому тот сочтет нужным, было «испытанием рока». Лермонтов-гусар мог сколько угодно, вполне искренне, уверять господина шефа жандармов, что и он, и его хороший приятель не видели в стихах ничего противного законам. Лейб-гвардии корнет мог позволить себе наивную неосведомленность, но лите-

ратор, решившийся назвать «палачами» русской славы людей, стоящих у трона, не мог надеяться, что на его поступок посмотрят сквозь пальцы.

Шефу жандармов Бенкендорфу, при всех его навыках, не удалось заставить Лермонтова назвать имя товарища, занимавшегося распространением вольнодумных стихов. Николай I приказал изменить и «тактику», и «методику» допроса. На докладной шефа жандармов сохранилась следующая резолюция царя:

«Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

В ходе вторичного — по методике царя — допроса и всплыло имя сообщника: Святослав Афанасьевич Раевский. По всей вероятности, именно с данным щекотливым обстоятельством связано и некоторое охлаждение Раевского к младшему другу. Правда, то, что их дружба дала серьезную трещину, выяснится позднее, а в феврале 1837 Лермонтов еще надеется на великодушие «любезного Святослава», еще пробует оправдаться.

«Я сначала не говорил про тебя, — признается он Раевскому, уже получив право на переписку с родными, но еще находясь под арестом, — но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запущу, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей...»

Но это Лермонтов-первый мог колебаться, решая, имеет ли он моральное право пожертвовать другом ради бабушкиного спокойствия. Лермонтов-второй, не задумавшись, пожертвовал и своей будущностью, и будущностью друга, и бабушкой. И пока Мишель с тревогой и надеждой ждет результатов бабушкиных усилий (Елизавета Алексеевна, используя все свои связи, пытается «замять» дело), Лермонтов внутренне готовится к новому образу жизни — без гвардейских (в широком смысле слова) привилегий.

За стихи на смерть Пушкина Лермонтов был переведен из гвардии в армейский драгунский полк, именовавшийся Нижегородским, но расквартированный неподалеку от Тифлиса. При обычных перемещениях подобного рода полагалось повышение на один чин. Лермонтова перевели из гвардии в армию тем же чином. Это была замаскированная ссылка. Друзья, знакомые, почитатели видела в нем жертву, принесенную «усопшему» Пушкину. Сам Лермонтов отнесся к перемене судьбы по-другому. Находясь под арестом, он написал стихотворение «Сосед», в котором выразил свою главную «тайную думу»:

И лучших лет надежды и любовь —
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит...

Мечтами о будущем наполнено и его прощальное письмо Св. Раевскому, написанное перед самым отъездом на Кавказ:

«Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — Восток. Меня утешают слова Наполеона: «Les grands noms se font l' Orient»¹.

Если оторвать это письмо от обстоятельств, ссылка на Наполеона может показаться лишь громкой фразой, но в устах Лермонтова 1837 года это вовсе не фраза. Кем он был всего два месяца назад? Молодым человеком, пишущим недурные стишки. Ода на смерть Пушкина сделала его знаменитым. Поэта менее требовательного к себе внезапная слава могла бы погубить, но Лермонтов понимал, что это всего лишь «аванс»: оставшаяся без

¹ «Великие имена возникают на Востоке» (фр.).

Пушкина Россия спешила увериться, что дивный гений не ушел без наследника. Лермонтов мысленно просматривал рукописи, обрабатывал сырые дневниковые записи...

Обработкой было и хрестоматийное теперь «Бородино». В его основе — стихотворение «Поле Бородина». Созданное пять лет назад, в один из юбилеев легендарной битвы под Москвой, оно мало чем отличалось от типовых произведений той поры на патриотические темы, за исключением одной-единственной строфы, явно выпадающей из общего ложно-пафосного тона и стиля. Лев Толстой назвал «Бородино» «зерном» «Войны и мира». Перефразируя Толстого, можно сказать: в «Поле Бородина» было семь строк, которые составили «зерно» «Бородина»:

И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.

«Бородино» опубликовано в 1837 году во второй книжке пушкинского «Современника». С этим фактом, видимо, и связана красивая легенда, будто Александр Сергеевич видел лермонтовские стихи, очень хотел, да не успел их опубликовать. Увы, и это лишь очередная попытка выдать желаемое за действительное... Известно также, что цензурное разрешение на публикацию помечено вторым мая 1837 года. Основываясь на этих скудных данных и привлекая еще несколько косвенных, разные ученые выдвигают разные гипотезы... И все-таки реалистичнее предположить, что «Бородино», как и многие произведения Лермонтова, создано по дороге на Кавказ, а скорее всего в Москве, где поэт, судя по подорожной, задержался на целых семнадцать дней. В пользу Москвы склоняет и вот какое обстоятельство. Лермонтов приехал в город своего рождения как раз в тот момент, когда здесь начали усиленно готовиться к 25-летию Бородинской битвы. Праздник, по распоряжению государя, затевался широко — на всю империю, но в Москве, где еще сохранилась живая память и о сожжении пожаром, и о печальном возвращении к родному пепелищу, болезненнее, чем в Петербурге, переживалось несоответствие между истинным духом Бородина и патриотической показухой, острее осознавалась бестактность помпезности, с какой по распоряжению Николая обставлялся юбилей, разительнее бросался в глаза разрыв — между истинным духом Бородина и официальной кичливостью, которая Лермонтову, в его теперешнем положении, на переломе судьбы, должна была казаться особенно отвратительной.

Михаил Лермонтов и Альфред де Виньи

Реалистическая детализация, отличающая первый лермонтовский шедевр от всего, что было написано им до «Бородина», контраст с официальной трактовкой «феномена Бородина» (не полководческая, а солдатская война и солдатская победа!) — все это так неожиданно, что невольно начинаешь искать еще и какой-то неизвестный источник поэтической энергии — конкретный повод, жизненный импульс, поразивший автора и давший новое направление старому сюжету. Нельзя, конечно, исключить возможную встречу в Москве или в дороге с каким-то реальным лицом, участником великого сражения. Но думается, что была, могла быть и куда более важная для Лермонтова встреча. Я имею в виду встречу со знаменитой книгой Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата». Ни один исследователь, занимающийся проблемой связей Лермонтова с западноевропейской литературой, не забывает упомянуть о французском писателе де Виньи. О том, что Лермонтов был хорошо знаком с его творчеством, свидетельствует и Шан-Гирей (на предложенный Акимом план переделки «Демона» Михаил Юрьевич ответил: «Твой план не дурен, но только сильно смахивает на Эолу Альфреда де Виньи»). Однако все почему-то сравнивают лишь их стихи и романтические

поэмы, тогда как, на наш взгляд, есть основания предполагать, что Михаил Юрьевич крайне внимательно читал и военную прозу де Виньи. Отдельным изданием «Неволя и величие солдата» вышла в 1835 году; как и на многие зарубежные издания, на нее распространялся запрет иностранной цензуры. Однако запреты цензуры в этой своей части, даже в годы правления Николая I, были чистой фикцией. Не существовало ни одной запрещенной иностранной книги, которую нельзя было бы купить у букиниста. Но прежде чем рассказать о подробностях заочной встречи Михаила Лермонтова с Альфредом де Виньи, приведу выдержку из «Неволи и величия солдата»: сходство этого фрагмента и в общем взгляде, и в авторском отношении к предмету со стихотворением «про день Бородина» таково, что объяснить его простым совпадением довольно трудно.

«В полках, где мне доводилось служить, – вспоминает де Виньи, – я любил слушать офицеров почтенного возраста; их сутулая спина все еще напоминала спину солдата, согбенного под тяжестью ранца... Они рассказывали мне о былых походах — Египетском, Итальянском, Русском... И напротив, мне казалось нудным и неприятным навязчивое самодовольство молодых лейтенантов той поры, праздных и невежественных... знатоков по части покроя мундира, любителей поразглагольствовать в кафе и бильярдных залах... Чтобы извлечь хоть некоторую пользу из всего, что меня окружало в ту пору, я не упускал ни малейшей возможности послушать стариков... Они, в свою очередь... всегда охотно раскрывали передо мной душу. Вечерами мы бродили по полям и рощам, окружавшим гарнизонные стоянки, а иногда по берегу моря, и то тут, то там общий облик пейзажа или какая-нибудь неровность местности навевала на моих спутников нескончаемые воспоминания... и всякий раз при этом они либо тосковали по ушедшим тревожным дням, либо с почтением вспоминали некоего доблестного генерала»...

Речь идет, разумеется, не о подражании или заимствовании. Военная книга Виньи давала Лермонтову возможность соотнести свои раздумья с наблюдениями и мыслями умного и опытного человека, шедшего по жизни в том же направлении. Виньи оказался для Лермонтова идеальным собеседником, собеседником столь высокого духовного и интеллектуального уровня, какого непосредственное окружение дать не могло. В ту пору даже среди столичных умников не было никого, кто бы всерьез интересовался проблемами современной армии. Во всяком случае, в такой широкой философской постановке, какую предлагали «Неволя и величие солдата». Ценность воображаемого диалога увеличивалась и гарантировалась общностью судьбы. Как и Лермонтов, Альфред де Виньи был не только профессиональным литератором, но и профессиональным военным. Как и Лермонтов, почти подростком, соблазненный сиянием военной славы Франции, он вступил в гвардию. К несчастью, это решение совпало с падением Наполеона, и вместо военных триумфов и экзотических дальних походов на долю юного романтика выпали долгие годы рутинной гарнизонной службы, которую опасно разнообразили лишь гражданские смуты внутри самой Франции — по долгу присяги Виньи был вынужден участвовать в их подавлении. Размышляя о превратностях своей судьбы, автор «Неволи и величия солдата» увидел в ней отражение судьбы французской армии, невольно, как и автор «Бородина», сравнивая прежние и нынешние времена, нравы, характеры. Результаты этих размышлений в условиях николаевской России выглядели непозволительно, тем более они должны были заинтересовать сочинителя непозволительных стихов.

«Судьба современной армии, – размышлял Виньи, – совершенно не похожа на судьбу прежнего войска... Теперь это как бы живое существо, отторгнутое от большого тела Нации... Современная армия... становится чем-то вроде жандармерии... Сколько раз, будучи вынужден принимать незаметное и все же деятельное участие в наших гражданских смутах, я чувствовал, как совесть моя восстает против этой унижительной и жестокой обязанности! Народ — ...равнодушный Цезарь, которому солдаты непрестанно повторяют, проходя перед ним в строю: «Обреченные на смерть тебя приветствуют!» (Ритуальную формулу римских гладиаторов Альфред де Виньи поставил даже эпиграфом к своей книге.)

Не будем утверждать, что именно эти соображения Виньи оказали влияние на мировоззрение Лермонтова, но чтобы убедиться в том, что основная мысль книги близка ему, достаточно сравнить «Бородино» и «Завещание» (1840). Герой «Бородина» — участник

отечественной, общенародной, настоящей войны. Герой «Завещания» чувствует себя «существом», «отторгнутым от большого тела Нации»:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

Была в книге Альфреда де Виньи и еще одна тонкость. Исходя из собственного жизненного опыта, он утверждал, что служба в армии — превосходная школа действительной жизни: «книга, которую полезно открыть, если хочешь узнать человеческую природу». Особенно для людей «богатых» и «избалованных». «Не будь армии, сын какого-нибудь вельможи и не подозревал бы, как живет, мужает и нагуливает жир солдат».

Школой действительной жизни и стал для Лермонтова Кавказ. Эта школа дала ему знание «человеческой природы».

«Великие имена возникают на Востоке»

В конце апреля — начале мая 1837 года Лермонтов, простудившись в дороге, приехал в Ставрополь, а 13 мая подал рапорт с просьбой освидетельствовать его болезнь. Штабной лекарь Майер (он выведен в «Герое нашего времени» под именем доктора Вернера), заподозрив обострение хронического ревматизма, предписал курс серных ванн, и Лермонтов отправился в Пятигорск, город своего Детства. Здесь он жил до начала августа, потом продолжил лечение в Кисловодске, а в первой половине сентября выехал из Минеральных Вод в Тамань, так как надеялся принять участие в экспедиции против черноморских горцев. Экспедиция, однако, не состоялась: Николай I заменил ее парадом на Дидубийском поле под Тифлисом. В показательном этом смотре участвовали четыре эскадрона Нижегородского полка, но Лермонтова на нем не было: без вещей и без денег, которые у него украли в Тамани, он торчал в Ставрополе. В свой полк поэт явился лишь поздней осенью...

Итак, Лермонтов крупно рискнул и крупно выиграл, ибо за это длинное южное лето он успел собрать столько жизненного материала, что хватило на целое собрание сочинений: «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон», «Беглец», «Ашик Кериб», множество мелких, как говорили тогда, стихотворных пьес — почти все, что создано им в период между двумя ссылками, так или иначе связано с Кавказом. И не формально, а по самой сути. Недаром современники считали, что Лермонтов сделал для Кавказа то же, что Пушкин для России: открыл его для русского читателя.

Во время первой ссылки Лермонтов посетил и кавказское имение сестры Елизаветы Алексеевны — Екатерины. В 1837 году Екатерины Столыпина-Хастатовой уже не было в живых, но сын ее, Аким Акимович Хастатов, унаследовал и «земной рай», и кавказские повадки решительной матушки. Имение его по-прежнему смахивало на небольшую крепость: рвы, тын, пушки. Аким Акимыч и в визитные карточки вписал унаследованный от Екатерины Хастатовой «титул» «Передовой помещик Российской Империи». Этот-то авангардный дядюшка и подарил любознательному племяннику два своих приключения: рассказал о похищенной им татарке по имени Бэла, а также о том, как чуть не был изрублен пьяными казаками в станице Червленной. Оба эти эпизода Лермонтов описал в «Герое нашего времени».

Побывал в Червленной и сам Лермонтов. Червленная (от старинного русского слова червленый, то есть багровый или ярко-малиновый) — одно из самых ранних русских поселений на Северном Кавказе. В XIX веке Червленная была как бы столицей грбенского

казачества. В этом краю песенный фольклор бытовал в архаических формах, и у нас есть основания предполагать, что Лермонтов слышал здесь казачьи исторические песни об Иване Грозном. Во всяком случае, образ царя в «Песне про царя Ивана Васильевича...» он создал, учитывая фольклорную трактовку. В Червленной, по преданию, записал он и народную песню, послужившую источником «Казачьей колыбельной». По жанру это классическая «колыбельная», а по сути — поэтическая малая энциклопедия пограничного быта гребенских казаков.

...По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой храбрый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Побывал Лермонтов и в Кизляре. Военным комендантом Кизлярской крепости был в ту пору Павел Катенин, ближайший друг Александра Сергеевича Грибоедова. Грибоедов очень интересовал Лермонтова. В день своей дуэли, в июле 1841 года, направляясь к месту поединка, он говорил своему секунданту М. Глебову:

«Я выработал уже план двух романов: одного — из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого — из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове... Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране».

Портрет, составленный из пороков целого поколения

Считается, что «Герой нашего времени» написан в течение 1838 года в Петербурге. Уже по возвращении из ссылки. Так оно, вероятно, и было, если исключить весь подготовительный период, который у Лермонтова занимал львиную долю творческого времени. Писал он быстро, часто сразу набело, однако прежде, чем перенести на бумагу текст, он создавал его уме («в уме своем я создал мир...»). В уме перекраивал, искал, отбрасывал неудавшиеся варианты.

Выясняя порядок написания глав в романе «Герой нашего времени», исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. Уже Б. Эйхенбаум усомнился в том, что очередность их появления в печати — «Бэла», «Фаталист», «Тамань» — и была порядком написания. Он попытался, и очень убедительно, доказать, что прежде всего была написана «Тамань». Правда, сам Лермонтов говорит в «Бэле»: «Я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей». Но, думается, это художественный прием, с помощью которого Лермонтов соединяет звенья фрагментарного повествования, превращая «записки странствующего офицера» в роман.

А вот вариант «Героя...», который создавался «в уме», по всей вероятности, начался с «Княжны Мери». Стилистически именно эта повесть ближе всех к «петербургской хронике», работа над которой была прервана смертью Пушкина. Даже в названиях есть некое соприкосновение: «Княгиня Лиговская» — «Княжна Мери». Однако, прилаживая старый сюжет к новым обстоятельствам, Лермонтов сделал очень важный шаг. Он разорвал нити, связывавшие его с героем. Портрет Печорина в «Княгине Лиговской» — фактически почти автопортрет. В герое нового романа, хотя он носит те же имя, отчество и фамилию, нет ни одной, кроме глаз — «не смеявшихся, когда он смеялся», — внешней черточки, соединявшей его с автором. Лермонтов был глубоко убежден в том, что характер человека и его внешний облик составляют единое целое. Столь резкая перемена означала для него и внутреннее отстранение от героя.

Печорин, конечно, тоже портрет, но не одного человека. Тип, составленный из пороков целого поколения! Поколения, которое больно временем, его пустотой и невозможностью употребить разумно «силы необъятные».

Лермонтов увлекся Кавказом. Он начал даже учить азербайджанский язык и писал Раевскому, что желал бы остаться в этой стране чудес... Но отдаленное родство с шефом жандармов Бенкендорфом и старания Елизаветы Алексеевны о «всемиловитейшем прощении внука» сделали свое дело. Николай I дал соизволение на перевод армейского прапорщика Лермонтова корнетом в Гродненский гусарский полк, расквартированный под Новгородом.

Елизавета Алексеевна «истинно была рада как ума лишенная». Но едва оправившись от первой радости, снова принялась хлопотать. Лермонтов уехал в Новгород 16 февраля 1838 года, а 24 марта военный министр уже получил «представление» Бенкендорфа о его переводе в прежний Лейб-гвардии гусарский полк.

Однако прибыл он в Царское Село только к середине мая 1838 года. Полтора месяца, украденные у царской службы, ушли на то, чтоб хотя бы вчерне обработать и обдумать собранный на Кавказе богатейший жизненный материал.

Последнее свидание

Во второй половине июня 1838 года произошло последнее свидание Лермонтова с Варварой Лопухиной. После ее внезапного и странного замужества Михаил Юрьевич словно бы вычеркнул Варвару Александровну из своей жизни. И вдруг в феврале 1838 года сам сделал первый шаг к примирению: написал длинное доверительное, как в прежние годы, письмо к Марии Лопухиной, а в конверт вложил стихи, обращенные к ее младшей сестре, — знаменитую «Молитву». Это была страстная мольба о прощении — за неуместность мстительного порыва, за неделикатность. Мольба и признание в пожизненности внушенного ею чувства, которое и любовью-то назвать нельзя: настолько оно — другое.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Несмотря на свои горести и беды (смерть новорожденного ребенка, тяжкое нездоровье), Варвара Александровна мольбу услышала и откликнулась.

Шан-Гирей вспоминает:

«Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем Варвара Александровна проездом за границу. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза были такие же ласковые, как и прежде. “Ну, как вы здесь живете?” — “Почему же это вы?” — “Потому что я спрашиваю про двоих”. — “Живем, как Бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа”. Это была наша последняя встреча, ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго...»

Подробностей этой короткой встречи мы никогда не узнаем, но воспоминанию о ней русская литература обязана гениальным переводом знаменитого стихотворения Г. Гейне «Они любили друг друга». Перевод не совсем точный. Лермонтов внес в текст отсутствующий в немецком оригинале мотив свидания за гробом, перенес трагедию неутоленной, невысказанной любви за пределы земного существования:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной!

Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Могучий образ

8 сентября 1838 года Михаил Юрьевич закончил новый, кавказский вариант поэмы «Демон» и тут же отослал его Варваре Александровне.

Над «Демоном» он начал работу, едва открыв в себе поэта, в 1829 году. Сразу же нашлась первая строчка: «Печальный Демон, дух изгнанья», она без изменений прошла через все восемь редакций поэмы. А через год, в варианте 1830 года, появилось и заключительное двестишестое, к которому Лермонтов долго не притрагивался, есть оно и в лопухинском списке:

Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул!

Эти строчки (в варианте 1830 года) подводят итог сюжету, который в одном из ранних черновиков сформулирован следующим образом:

«Демон влюбляется в смертную (*монахиню*), и она его наконец любит, но Демон видит ее ангела-хранителя и из зависти и ненависти решает погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и Демон, встречая ангела, который плачет с высоты неба, упрекает его язвительной улыбкой».

Этот по-детски наивный план сюжета со временем сильно изменился, испанская монахиня превратилась в грузинскую княжну, дочь седого Гудала. Из ненависти Демон губит не красавицу, а ее жениха, «властителя Синодала». Его же чувство к «смертной» лишено «злого» умысла. На вопрос Тамары, зачем он любит ее, «дух изгнанья» отвечает вполне искренне:

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю...

За миг блаженства Тамара расплачивается жизнью. Поцелуй Демона убивает ее, но губит красавицу княжну не сила ненависти, прикинувшейся любовью, а сила «нездешней страсти», одно мгновение которой стоит вечности. Тот же мотив, кстати, мы встречаем в юношеском стихотворении:

Мгновение вместе мы были,
Но вечность — ничто перед ним;
Все чувства мы вдруг истожили,
Сожгли поцелуем одним.

Смерть Тамары — не поражение, а «гордая победа над земным». Кем она была до встречи с Демоном? Всего лишь женщиной, которой «все богатство — красота», и притом красота откровенно чувственная, бездуховная, «гаремная». Мгновение великой любви преображает и одухотворяет эту чувственную красоту, делает ее таинственной и загадочной, и это совсем не случайно, ведь в понимании Лермонтова любовь — не только сильнейшая из страстей, но и чудо. Чудо, способное переменить и течение Жизни, и самый состав человеческого естества, природу его. Вот как описывает Лермонтов лицо мертвой Тамары:

Улыбка странная застыла,
Едва мелькнувши на устах;
Но темен, как сама могила,
Печальный смысл улыбки той:
Что в ней? Насмешка ль над судьбой,
Непобедимое ль сомненье?
Иль к жизни хладное презренье?
Иль с небом гордая вражда?

Как знать? Для света навсегда
Утрачено ее значенье!

Конечно, поэма, как всякое истинно художественное произведение, допускает самые разные прочтения и толкования. В «Сказке для детей» сам Лермонтов дал такую интерпретацию образа Демона:

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималась...

Судя по этой характеристике, для автора поэмы самое главное в его герое — волшебная, не имеющая земных аналогов красота, смущающая, пугающая и ум, и воображение; это могучий образ и в то же время — фантом, видение. Единственная конкретность, какую позволил себе автор по отношению к «населенцу надзвездного края», — «след крыл» — не сами крылья, а только след от них:

По следу крыл его тащилась
Багровой молнии струя...

Даже в волшебном сне Тамары он — «пришелец туманный»: «Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет». Даже голос Демона княжна в том же сне не просто слышит, а как будто слышит. Не случайно Лермонтов, отличный рисовальщик и талантливый живописец, не сделал ни одного изображения героя этой поэмы. Сознательно оставил его «духом», мечтой, желаньем, недоступным умам посредственных людей.

Первый кавказский вариант «Демона», названный «восточной повестью», Лермонтов, как уже упоминалось, подарил Варваре Лопухиной. Предпосланное списку «Посвящение» содержит и еще одну интерпретацию поэмы:

— Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук...

.....
Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложил на нее холодную печать

И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет;
И примешь за игру иль сон воображенья
Больной души тяжелый бред...

«Простое выражение тоски», «бред души»... Поэт подчеркивает автобиографический характер произведения. На первый взгляд, такая трактовка противоречит той, что высказана в «Сказке для детей», но это кажущееся противоречие. «Посвящение» дает понять «подруге юных дней», что в поэме, кроме смысла, открытого всем, есть еще и «забытый звук», который дорог лишь им двоим.

Примерно в то же самое время, когда Лермонтов пытался протащить «Демона» сквозь «игольное ушко» цензуры, он написал такое стихотворение:

Есть речи — значенье
Темно или ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...

Это тоже вариация давнего мотива, возникшего в месяцы юношеской влюбленности в «Вареньку-уродинку»:

Есть звуки — значенье ничтожно
 И презрено гордой толпой —
 Но их позабыть невозможно:
 Как жизнь, они слиты с душой;
 Как в гробе, зарыто бывшее
 На дне этих звуков святых;
 И в мире поймут их лишь двое,
 И двое лишь вздрогнут от них.

Стихи написаны в 1832 году, перед самым отъездом Лермонтова в Петербург. «Звуками», в которых, «как в гробе», «зарыто бывшее», и были уже процитированные строчки из «Демона»: «Печальный Демон, дух изгнанья...», «Посла потерянного рая // Улыбкой горькой упрекнул...» Этими строчками начинался и оканчивался тот вариант поэмы, который Лермонтов подарил шестнадцатилетней Лопухиной в 1831 году. Он работал над ним весной и летом и окончил еще до их встречи (посвящение, где он называет подругу «Мадонной» («Прими мой дар, моя Мадонна»), как и акварельный портрет Варвары Александровны в костюме монахини, написаны позднее). Видимо, реакция умной девушки, неординарность ее восприятия и сблизили их. И вот сейчас, отсылая доведенный до совершенства текст, Лермонтов напоминал, что роскошная восточная повесть родилась из полудетского, когда-то подаренного ей «черновика». Точнее — эскиза. И в этой повести, как в «тайнике», «запечатана» простая человеческая тоска по тем дням, когда жизнь только начиналась и обыкновенный мальчик требовал, чтобы обыкновенная девочка дала ему необыкновенную клятву:

Послушай, быть может, когда мы покинем
 Навек этот мир, где душою так стынем,
 Быть может, в стране, где не знают обману,
 Ты ангелом будешь, я демоном стану!
 Клянися тогда позабыть, дорогая,
 Для прежнего друга все счастье рая!
 Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
 Тебе будет раем, а ты мне — вселенной.

Страстная душа

Как и образ Демона, образ молодого монаха, томящегося в монастыре, «преследовал» воображение Лермонтова «много лет». Еще в 1831 году он дал себе такое задание:

«Написать записки молодого монаха семнадцати лет. — С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. Страстная душа томится. Идеалы...»

Замысел этот отчасти реализован в поэмах «Боярин Орша» и «Исповедь».

После возвращения из ссылки Лермонтов вернулся и к нему, но перенес действие на Кавказ. Как свидетельствует Шан-Гирей, странствуя по горному Кавказу, поэт встретил одинокого монаха и узнал от него, что родом он — горец, попавший в плен ребенком. Его взял в плен русский генерал и хотел усыновить, но мальчик заболел. Пришлось отдать его на попечение монахов одного из грузинских монастырей.

В рукописи стихотворения Пушкина «Кавказ» была одна дерзкая строфа, не напечатанная при жизни автора:

Так буйную вольность законы теснят,
 Так дикое племя под властью тоскует,
 Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
 Так чуждые силы его тяготят...

Строфа эта могла бы служить вторым эпиграфом к «Мцыри», если бы Лермонтов просто продолжил мысль своего великого предшественника, а он спорит с ним! В «Путешествии в Арзрум» Пушкин, имея в виду «дикие племена» Северного Кавказа, писал:

«Что делать с таковым народом? ...Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное

с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. ...Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лени в замену слова живого... посылать немые книги людям, не знающим грамоты».

«Мцыри» является как бы экспериментальной проверкой предложенного Пушкиным гуманного плана «укрощения» немирных горцев. Шестилетним ребенком Мцыри попадает к «христианским миссионерам». Они спасают его от смерти. Его воспитывают не «немые книги», а живой пример подвижничества, но таинственная мощь природы ему понятнее и ближе мудрости Евангелия.

Год триумфа

1839 год был годом лермонтовского триумфа. 1-й номер «Отечественных записок» — «Дума»; 2-й — «Поэт»; 3-й — «Бэла»; 4-й — «Не верь себе»; 6-й — «Еврейская мелодия»; 8-й — «Три пальмы»; 11-й — «Фаталист» и стихотворение «Молитва»; 12-й — «Дары Терека» и «Памяти А.И. О(доевско)го»...

У Лермонтова начинают выпрашивать стихи светские женщины и провинциальные журналы. О Лермонтове говорят. Лермонтова приглашают. Знакомства с ним добиваются. Елизавета Алексеевна начинает не на шутку побаиваться, что «Мишу женят». Балы. Вечеринки. Конноспортивные увеселения. Домашние спектакли. Михаил Лермонтов словно бы вспомнил, что ему только 24 года и что жить, не лишая себя удовольствий, сопутствующих славе, молодости и свободе, — вещь преотличная. Не подводит и вдохновение. В феврале 1840 года журнал «Отечественные записки» печатает «Тамань», последнюю из главок «Героя нашего времени», которую Лермонтов успел опубликовать до выхода романа (апрель 1840 года).

Не успела читающая Россия опомниться от первого изумления, а Белинский уже объявил, что в авторе этого романа — «выразился исторический момент русского общества» и что «недалеко то время, когда имя его в литературе делается народным именем».

Лермонтов научился справляться даже со своими гусарскими обязанностями: поощрение следует за поощрением, чередуясь с извещениями о новых публикациях. И бабушка почти здорова. И Раевский наконец-то возвращен из ссылки. А сам он вроде бы даже влюблен, и не на шутку, и притом в женщину, способную на серьезное и глубокое чувство. Положение покойного мужа открыло пред ней двери великосветских гостиных, но не сделало «петербургской льдинкой»:

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

И кажется, он не делает тайны из своего увлечения: о том, что Миша неравнодушен к Марии Щербатовой, известно даже его домашним. Аким Шан-Гирей свидетельствует:

«Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой... Мне ни разу не случилось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать».

Но все это, включая и влюбленность в «молодую вдову», было лишь внешней жизнью. В другой, внутренней жизни, куда Лермонтов не допускал даже добрейшего и преданнейшего Акима, он вовсе не чувствовал себя счастливым баловнем успеха.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят — все лучшие годы!..
Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно..

Казалось бы, жизненный опыт должен был излечить его и от юношеского максимализма, и от мечты о вечной любви. Не излечил. Максимализм был пожизненным. Свойство, достаточно неудобное для жизни вообще, а для жизни в России особенно. И тем не менее до самого конца 1839 года судьба продолжала благоволить Лермонтову. И вдруг все рухнуло...

Дуэль с де Барантом

Накануне нового, 1840 года секретарь французского посольства от лица посла Проспера де Баранта обратился к А.И. Тургеневу с запросом: «Правда ли, что Лермонтов в известной строфе “Смерти поэта” бранит французов вообще или одного только убийцу Пушкина?» Александр Иванович, успевший раздарить все имевшиеся у него списки стихотворения, обратился к Лермонтову, и тот на следующий же день отослал послу интересующий его фрагмент. Барант-старший, удостоверившись, что введен в заблуждение ложным слухом, а Лермонтов «не думал поносить французскую нацию», в знак примирения отправил автору официальное приглашение на новогодний бал во французском посольстве. Однако Барант-сын считал или хотел считать по-другому, на это у балованного отпрыска французского посла была сугубо личная причина: он открыто ухаживал за княгиней Щербатовой, и, когда Марья Алексеевна, забывшись и выйдя из роли светской дамы, оказала слишком уж явное предпочтение Лермонтову, разумеется, не выходя из рамок бального этикета, Эрнест де Барант взорвался и, подойдя к поэту, сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль запрещена», на что Михаил Юрьевич вынужден был ответить: «Это ничего не значит. Я весь к вашим услугам». Бальное столкновение между поклонниками прелестной вдовы произошло 16 февраля 1840 года, а через два дня, 18-го, состоялась дуэль. Вернувшись домой сразу после поединка, Лермонтов рассказал Акиму Шан-Гирею подробности:

«Отправился я к Мунге (Алексею Столыпину), он взял отточенные рапиры и пару кухен-рейтеров, и поехали мы на Черную речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не подавался. Мунго продрог и бесился, — так продолжалось минут десять. Наконец, он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку; но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались...»

В тот же день Лермонтова встретил литератор Иван Панаев, по его наблюдению, Михаил Юрьевич был на редкость весел. Причиной чрезвычайной веселости могло стать и нервное напряжение, но, видимо, еще и уверенность, что дуэль, в виду бескровного исхода, удастся сохранить в тайне. Во всяком случае, ни Лермонтов, ни его секундант доносить о случившемся не собирались. Да и Баранту, по всем расчетам, выгоднее было помалкивать: огласка могла принести неприятности, если и не самому Эрнесту, то его отцу — государь всея Руси видел в дуэлях неестественное, несвойственное русскому образу жизни проявление духа независимости, больше того — французское влияние, которое систематически, неуклонно преследовал и искоренял. В глазах Николая даже прямое убийство из ревности или мести выглядело более нравственным, чем поединок, свидетельствующий, по его, царскому мнению, об испорченности нравов.

И тем не менее мальчишка Барант проболтался. 21 февраля о картели на Черной речке стало известно командиру Гусарского полка, и он потребовал от провинившегося офицера объяснения обстоятельств поединка. Дело, однако, разворачивалось медленно: приказ об аресте дуэлянта был приведен в исполнение почти месяц спустя после происшествия на Черной речке... Если бы зачинщиком оказался русский офицер, достаточно было бы применить закон, но инициатива принадлежала Баранту, а Барант — гражданин Франции, где поединок считается легальным способом разрешения конфликтов, связанных с вопросами гражданской чести. Эта юридическая тонкость настолько усложняла применение закона, что был момент, когда следящие за ходом

судебного разбирательства вздохнули с облегчением, решив, что на этот раз «кончится милостиво». Молва, склонная, как всегда, выдавать желаемое за действительное, разносит по Петербургу фразу, якобы произнесенную царем: «Если бы Лермонтов подрался с русским, я знал бы, что с ним делать, но когда с французом, то три четверти вины слагается». Но кое в чем молва была права: царь и в самом деле не знал, как поступить с беспокойным гусаром.

Из затруднительного положения судопроизводство вывел сам Лермонтов, точнее, спровоцировавший его Эрнест де Барант. В письме к командиру Лейб-гвардии гусарского полка Михаил Юрьевич следующим образом описал злосчастную дуэль:

«Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись».

Показания не понравились Баранту. Демонстративное поведение Лермонтова — выстрел в сторону — делало его смешным, а Барант хотел выглядеть героем, защищающим честь Франции, которую Лермонтов якобы оскорбил в лице убийцы Пушкина — Дантеса. (В том, что дуэль между Лермонтовым и Барантом — не пустая ссора из-за женщины, были убеждены многие очевидцы. Вот что записал в своем дневнике однокашник Пушкина по Лицею барон Корф: «Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если бы не поскользнулся, нанося решительный удар».) Спасая свою репутацию, Эрнест де Барант передал арестованному, что требует новой дуэли. Лермонтов, хотя это и было крайне рискованно, вынужден был пригласить француза на Арсенальную гауптвахту — для объяснения, что категорически не разрешалось. Впрочем, со стороны Баранта это был лишь эффектный жест, драться он не собирался, ибо в тот же вечер, по настоянию отца, уехал в Париж. Естественно, предварительно он разболтал всему свету о том, что побывал у господина Лермонтова, сидящего на гауптвахте, и пригрозил ему новой дуэлью за клевету...

Эрнест де Барант уехал, а дело о дуэли продолжалось. Теперь уже сам Бенкендорф, представляя якобы интересы семьи Барант и высшую справедливость, настаивает на том, чтобы Лермонтов написал письмо с признанием ложности своих показаний на суде. Это было уже нарушением всяческих приличий, и командир Гвардейского корпуса великий князь Михаил Павлович счел необходимым вмешаться. Бенкендорф отказался от своих претензий. Однако свидание с Барантом на гауптвахте военный суд расценил как отягчающее вину обстоятельство.

«Лермонтова дело пошло хуже, — пишет князь Петр Вяземский. — Под арестом он имел еще свидание и экспликацию с молодым Барантом. Все глупое ребячество... Дух независимости, претензии на независимость, и конец всего — что все делает навыворот».

Даже родные и те раздражены. Мать Сашеньки Верещагиной сообщает дочери:

«Миша... еще сидит под арестом, и так досадно — все дело испортил... ни об чем не думает, только об себе, и об себе неблагоприятно».

Но было ли поведение Лермонтова всего лишь неблагоприятием? Белинский, например, располагал другими сведениями:

«Лермонтов слегка ранен и в восторге от этого случая, как маленького движения в однообразной жизни... Если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ, душа его жаждет впечатлений и жизни».

В том, что в Петербурге Лермонтову не хватало ни жизни, ни впечатлений, сомневаться не приходится, но и «в восторге» от случившегося он все-таки не был. В 1840 году он уезжал из Петербурга иначе, чем в 1837, с тяжелым сердцем и тяжелым предчувствием. Поэт видел себя изгнанником:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

В это прощание с Петербургом надо вообще вчитаться внимательно, поскольку «Тучи» — единственное открытое высказывание Лермонтова о тайных причинах нового поворота в его жизни:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

И тайная зависть, и открытая злоба, и клевета, и несчастное сцепление случайностей — все имело место и оказало влияние на «решение судьбы». Но преступление? В каком преступлении обвиняет себя Лермонтов?

Княгиня Мария и княжна Мери

В мае 1840 года Александр Иванович Тургенев записал в дневнике:

«Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».

Причин для слез у Марии Щербатовой той весной было более чем достаточно. Она только что потеряла маленького сына, а вместе с ним и право на наследство. Для сироты и бесприданницы это было не просто неутешным горем, но и жизненной катастрофой, но Тургенев твердо называет причину слез: «любит Лермонтова». Впрочем, даже любовь не объясняет странной откровенности княгини Щербатовой. Она нарушала все правила светского приличия. Объяснение только одно: жест отчаяния, реакция сильной и простой души на необъяснимое поведение Лермонтова.

Он настойчиво добивался ее любви. Он открыто ездил к ней в дом. Он посвятил ей полные самого серьезного чувства стихи. Он стрелялся из-за нее. И он избегает ее. Даже теперь, когда она в таком отчаянии. Было отчего потеряться и более искушенной женщине.

На этой записи в дневнике А. Тургенева можно было бы не останавливаться, если бы она не находилась в явной связи с признанием самого Лермонтова: «Или на вас тяготит преступление», а главное, если бы история княгини Щербатовой не приводила на память историю княжны Мери, над которой Лермонтов работал зимой 1839 года, в то самое время, когда был «сильно заинтересован» молодой и прелестной вдовой.

Стараясь отыскать прототип княжны Лиговской, биографы Лермонтова перебрали всех его кавказских знакомых. В список возможных претенденток попали даже прехорошенькие сестры его будущего убийцы Николая Мартынова. Однако для того, чтобы поставить Печорина в положение «меж двух женщин», одну из которых он любит, хотя и странную любовью, а любви другой добивается, частью от скуки, частью от страсти к приключениям, Лермонтову было мало поверхностных пятигорских впечатлений. Не будем проводить слишком жестких соответствий и делать из поэта экспериментатора, способного превратить собственную жизнь в анатомический театр. Не так уж Михаил Юрьевич был избалован женской преданностью, чтобы «волочиться» за влюбленной в него женщиной только из спортивных или амбициозных соображений. Но в том, что Лермонтов, работая над «Княжной Мери», пристально и трезво наблюдал не только за окружающими его людьми, но и за самим собой, сомненья быть не может. Равно как и в том, что многие из этих наблюдений использованы при создании «Журнала Печорина».

Вспомним, как оканчивается повесть «Княжна Мери». Переведенный за дуэль в «скучную крепость», Печорин, пробегая «мыслию прошедшее», спрашивает себя:

«...Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?»

И отвечает сам себе:

«Нет, я бы не ужился с этой долею!»

В случае с Печориным признание не совсем обосновано. Ну какие радости и какой покой мог обещать ему брак с девушкой, за которой он приволокнулся «шутя» и «от скуки»? Но то же самое признание приобретает и вес, и значимость, если увидеть за ним самого Лермонтова. А некоторое право на такое предположение дает нам письмо поэта к Алексею Лопухину, содержащее вариант процитированного рассуждения:

«Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул... Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать?»

Есть и другие доказательства того, что ситуация, в которой очутился герой лермонтовского романа, в какой-то мере повторяла ту, в которой оказался летом — осенью — зимой 1839 года и его автор. Весной 1840 года, уже после дуэли с Барантом, Лермонтов написал два стихотворения, обращенные к двум женщинам. Думается, они точнее, чем прозаические признания, свидетельствуют об его истинных чувствах.

Первое — посвящено Щербатовой.

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье...

Второе — Лопухиной (Лермонтов, которому нельзя было встречаться с любимой женщиной, видел ее дочь).

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
Не правда ль, говорят,
Ты на нее похожа? — Увы! Года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей...

Самим ходом вещей Лермонтов поставлен пред выбором: «тихие радости» обыкновенного семейного счастья или верность романтическим грезам юности? Положение осложнялось еще и тем, что княгиня Щербатова, в отличие от княжны Мери, была набожна и проста. Вести с ней двойную светскую игру было невозможно. В этих условиях дуэль с Барантом — идеальный выход из затруднительного положения. Тем, что Лермонтов стрелялся из-за нее, он подтверждал (в глазах светских знакомых) серьезность своего чувства. Зато последовавшее за дуэлью наказание (и новый арест, и новая ссылка) избавляло его от каких-либо решительных действий в подтверждение серьезности своих намерений. Но это реабилитировало его лишь в глазах светского общества. Себя самого Лермонтов судил другим судом: «Или на вас тяготит преступление»...

Золотая сабля за храбрость

В приговоре военно-судебной комиссии по делу о дуэли Лермонтова с де Барантом сказано: «...Сверх содержания его под арестом с 10 прошедшего марта выдержать еще под оным в крепости три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином».

Это произошло 11 апреля 1840 года. А 13 апреля Николай I, получив приговор на утверждение, изменил решение суда. Сам выбрал полк — Тенгинский пехотный, а на обертке, в которой был представлен доклад, написал: «Исполнить сегодня же».

Как и три года назад, Лермонтова переводили из гвардии в армию, и снова тем же чином, то есть опять ссылали на Кавказ. Поэт выехал в начале мая. В Петербурге продавалась его первая книга: «Герой нашего времени».

10 июня 1840 года он прибыл в Ставрополь и на следующий же день был зачислен в кавалерийский отряд Галафеева. Поход Галафеева в Дагестан обещал успех. Это давало друзьям поэта, в числе которых был и генерал-адъютант П.Х. Граббе, командующий войсками Кавказской линии, надежду на представление Лермонтова к награде, а значит, и на помилование. Граббе сделал вид, что произошло недоразумение. Лермонтов — отличный наездник. Что ему делать в пехотном полку?

А отряд Галафеева нуждался в опытных, знакомых с местными условиями кавалеристах.

Решающее сражение произошло при реке Валерик 11 июля 1840 года. В нашем распоряжении имеются три описания этого боя.

Реконструкция историка, основанная на изучении журнала военных действий:

«Поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывающегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Письмо самого Лермонтова к Алексею Лопухину, где он дает общую картину, умалчивая о своих собственных переживаниях:

«У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте... вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью».

И наконец, «Валерик». Стихи написаны на следующий день после «жаркого дела».

Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось...

.....

Вдруг залп... глядим, лежат рядами.
Что нужды? Здешние полки
Народ испытанный... «В штыки,
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелась в груди!
Все офицеры впереди...

Как и «Бородино», это стихотворение названо по имени места, где происходило сражение, но в данном случае у названия есть и символический смысл. Слово «валерик» в переводе с чеченского означает «мертвый». В этой метафоре заключена основная идея произведения. Кровь, пролитая при Валерике, кровь, превратившая горную реку в кровавый поток, — не освящена высокой патриотической идеей. Это не священная война, а бессмысленная резня, страшная своей ненужностью:

.. И пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко...

Герой «Бородина», старый воин, и через двадцать пять лет после сражения гордится тем, что был его участником. О том бое «помнит вся Россия». Героя «Валерика» воспоминания о вчерашней схватке наводят на размышления о бессмысленности «вражды»:

Я думал: «Жалкий человек,
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?..»

Не испытал участник «военного представления» и «упоеания в бою». Самым сильным впечатлением, вынесенным из боя, оказалось лицо смерти, увиденное вблизи:

...вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам Бог
И не видать...

10 октября Лермонтов принял на себя командование группой разведчиков-кавалеристов (по определению самого поэта, что-то «вроде партизанского отряда»).

Опытный офицер, «настоящий кавказец», К. Мамацев вспоминал:

«Невозможно было сделать выбор удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам... и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы».

За участие в экспедиции Галафеева Лермонтов был, как и рассчитывали друзья, представлен к награде. Генерал Галафеев после окончания военных действий подал рапорт, где к наградному списку была приложена просьба: перевести Лермонтова в гвардию тем же чином. В дополнение к галафеевскому рапорту князь Голицын, командующий кавалерией, подал свой, в котором просил о награждении Лермонтова золотой саблей с надписью «За храбрость».

Хлопотала и Арсеньева, которая нашла, видимо, «ходы» к военному министру... В результате 11 декабря 1840 года (то есть еще до того, как списки награжденных за Валерик дошли до Петербурга) «государь император по всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова, высочайше повелеть соизволил: офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца».

Высочайшее соизволение кавказские друзья Лермонтова сочли добрым знаком и поспешили представить государю императору доказательства того, что офицер сей по службе более чем усерден. Но в этом-то и был роковой просчет. Граббе, при всей своей опытности, оказался плохим психологом. О том, что Лермонтов не явился в назначенный ему полк, а своеволием Граббе употреблен в чеченском отряде, Николай узнал лишь в феврале 1841 года, до тех пор он был совершенно уверен в том, что его распоряжение исполнено в точности. Естественно, он выразил неудовольствие и вычеркнул фамилию Лермонтова из поданного ему списка награжденных за участие в сражении при речке Валерик.

В поведении Николая по отношению к Лермонтову была определенная последовательность. Император был убежден, что автор «Героя нашего времени» — человек «испорченный».

«Я прочел “Героя” до конца, — пишет он в июне 1840 года жене, — и нахожу вторую часть отвратительною, вполне достойною быть в моде... По моему убеждению, это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора».

«Испорченность», по представлению Николая, следовало наказывать и искоренять. Тенгинский пехотный полк для такой цели годился как нельзя лучше. Он всегда Действовал на отдаленных и опасных участках фронта. На него и смотрели как на своеобразную «исправительную колонию» для молодых людей, избалованных столичной жизнью и гвардейскими «вольностями». Легендарный Ермолов, например, разгневавшись на одного из своих сыновей, отправил его на Кавказ, снабдив личным письмом к Граббе. В этом письме генерал просил определить сына рядовым в Тенгинский пехотный полк.

Грустный сон

О том, что Николай вычеркнул его фамилию «из Валерикского представления» к награде, Лермонтов узнал только в феврале 1841 года.

По прибытии в столицу Михаил Юрьевич допустил еще одно нарушение.

«Начну с того, – пишет поэт своему приятелю на Кавказ, – что объясняю тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда, в Петербург, на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким».

Официально отпуск Лермонтова кончался 12 марта 1841 года, но он не мог уехать, не повидавшись с бабушкой: Арсеньева из-за весенней распутицы никак не могла добраться до Петербурга. Наконец их свидание состоялось. А Лермонтов не уезжал. Ему было хорошо, впервые хорошо в Петербурге. Он вдруг открыл в себе новое неожиданное свойство: дар быть веселым, легким, общительным.

Евдокия Ростопчина вспоминает:

«Три месяца, проведенные... Лермонтовым в столице, были... самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять, в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости».

Для этой легкой веселости была причина. Лермонтов, видимо, слегка увлекся Евдокией Ростопчиной. В 1831 году он посвятил ей новогодний мадригал «Додо». Еще раньше — стихотворение «Крест на скале». Тогда чувство было мимолетным и, разумеется, безответным: Додо взрослая барышня, вскоре ставшая невестой очень богатого человека, а Лермонтов — мальчик в детской курточке. Десять лет спустя Михаил Юрьевич и Евдокия Петровна встретились как бы наново.

«Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля... Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой... Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром, и вечером» (*из письма Е. Ростопчиной А. Дюма-отцу*).

Судя по всему, именно о ней идет речь в письме поэта к другу на Кавказ (вторая половина февраля 1841 года):

«Обществом... я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку».

Этот начальный срок отъезда был известен и Ростопчиной. Ее стихотворение «На дорогу» написано 8 марта. Это было открытое признание «в приязни»:

...заняты радушно им
Сердец приязненных желанья,
И минет срок его изгнанья,
И он вернется невредим!..

Но Лермонтов самовольно продлил свой петербургский отпуск на неопределенное время. Это не осталось незамеченным. 11 апреля генерал Клейнмихель, доверенное лицо шефа жандармов, вызвал его в Главный Штаб и передал повеление начальника Третьего отделения: в течение 48 часов покинуть Петербург.

Перед отъездом Лермонтов подарил Ростопчиной альбом, в который вписал посвященное ей стихотворение:

Я верю, под одной звездой
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны...
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную верить...

Это было вечером 13 апреля 1841 года.

«Мы собрались на прощальный ужин, – пишет Ростопчина <...> – я одна из последних пожалала ему руку. Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной

смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями».

Через несколько дней после отъезда Лермонтова вышел в свет сборник стихотворений Ростопчиной. Зная, что Лермонтов на некоторое время задержался в Москве, Ростопчина передала книгу Е.А. Арсеньевой в надежде, что дар дружбы догонит поэта в дороге. Арсеньева же по каким-то соображениям книгу внуку не послала.

Узнав об этом, 28 июня 1841 года Лермонтов написал бабушке:

«Напрасно вы не послали мне книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск...»

Исполнить эту просьбу Елизавета Алексеевна не успела.

Похоже, что с Евдокией Ростопчиной связано и одно из самых таинственных произведений Лермонтова — «Сон», написанное вскоре после последнего отъезда поэта из Петербурга, под свежим впечатлением от месяцев, которые он провел в обществе «юных жен», посещавших салон Карамзиных.

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал тесни лися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Евдокия Ростопчина, так же, как и ее друг князь Вл. Одоевский, увлекалась, и притом серьезно, проблемой сверхчувственного. С начала 1839 года Одоевский стал печатать в журнале «Отечественные записки» письма, обращенные к графине Ростопчиной («Письма к графине Е. П. Р.»). В этих эссе речь шла о природе суеверных страхов, об обманах чувств, магии, кабалистике и даже — колдовстве.

В творчестве самой Ростопчиной также наблюдается интерес к проявлениям сверхчувственного: предсказаниям, предчувствиям, «магнетическим» снам; она была убеждена, что судьба поэта фатально predetermined, во всем ей виделись «магнетические сцепления». Убийца Пушкина — Дантес и убийца Лермонтова — Мартынов служили в одном и том же полку — кавалергардском, — и это тоже кажется Ростопчиной не простой случайностью, а магнетическим сцеплением сверхчувственного.

Тон в салоне Карамзиных задавала Софья Николаевна, старшая дочь историка. Она была бурно увлечена поэзией Лермонтова. Зная об этом увлечении хозяйки, на ее вечерних чаепитиях гости охотно поддерживали разговоры о Лермонтове, но это были веселые разговоры... Средь «юных жен», посещавших «вечерние пиры» красной гостиной Карамзиных, Ростопчина — единственная женщина, наделенная поэтическим талантом

и поэтическим воображением, «магнетический сон наяву» о гибели поэта мог присниться лишь ей одной...

Орел или решка?

Путешествие из Петербурга в Ставрополь длилось почти месяц. Долгая и «прекверная» дорога, утомив Лермонтова физически, почти излечила его от хандры и дурных предчувствий. К тому же во время переезда им «овладел демон поэзии». Он заполнил стихами почти половину записной книжки, которую подарил ему князь Вл. Одоевский.

9 мая Лермонтов прибыл в Ставрополь. Как и год назад, командующий генерал Граббе распорядился судьбой поэта по своему, а не по императорскому разумению: направил Лермонтова не в Тенгинский пехотный, а в экспедиционный отряд, в Темир-Хан-Шуру — «заслуживать отставку». И сделал это незамедлительно: через сутки после приезда Лермонтов уже покинул Ставрополь. Слишком уж много было здесь любопытных — Граббе торопился спрятать от них опального поэта.

Однако в Темир-Хан-Шуру Лермонтов не поехал. Проливной дождь задержал их (он ехал на этот раз вместе со своим дядей-кузеном Столыпным-Монго) в крепости Георгиевская. Здесь-то с ними и столкнулся некий Петр Магденко, 24-летний офицер. Из его записок мы и узнали о том, что произошло на почтовой станции Георгиевская 12 мая 1841 года:

«Я только что принялся пить чай, — вспоминает Магденко, — как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин... Смотритель, на приказание Лермонтова запрягать лошадей, отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь... Я, с своей стороны, тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня... К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли что у кого было съестное, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились.

Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске...

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой мы со Столыпным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал:

“Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск”.

Столыпин отвечал, что это невозможно.

“Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск”. С этими словами Лермонтов вышел из комнаты.

На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии 40 верст, по-тогдашнему — один перегон. Из Георгиевского мне приходилось ехать в одну сторону, им — в другую.

Столыпин сидел задумавшись. “Ну что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?” — “Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено вести его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите”.

Дверь открылась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: “Столыпин, едем в Пятигорск!” — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: “Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?”

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: “В Пятигорск, в Пятигорск! Позвать людей!”

...Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице... Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми... Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: “Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал... чтобы послали за ним”. Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего знакомого, а потом скоро противника, которому рок судил убить надежду русскую на поединке».

Воспоминания Магденко — единственный зафиксированный в мемуарной литературе о Лермонтове эпизод, где «фатальный» характер поэта проявился с почти романтической выразительностью. Хотя «фаталистом» в буквальном смысле этого понятия

Лермонтов конечно же не был, просто он слишком хорошо представлял себе — по опыту прошлого военного «сезона», что ожидало его в Темир-Хан-Шуре; вариант с Пятигорском обещал некую неожиданность...

И все-таки странный этот поступок кажется неразумным, особенно «задним числом», когда невольно начинаешь гадать, как могла бы сложиться судьба Лермонтова, поверни он в ту роковую минуту не на Пятигорск, а на Темир-Хан-Шуру. К тому же мы никак не можем забыть, что, не явившись в Шуру, Лермонтов ставил под удар так много сделавших для него кавказских друзей. Терпеливый Граббе и тот рассердился. Выждав почти месяц, он приказал своему начштаба напомнить пятигорскому коменданту, добряку Ильяшенкову, что «потерявшегося» в дороге поручика лучше было бы отправить по назначению. И как можно скорее.

Однако Лермонтов и тут нашел выход, и даже вполне «приличный» (это, кстати, наводит на мысль, что под проливным дождем в Георгиевском решали не столько чувства, сколько рассудок). Получив в пятигорском военном госпитале свидетельство о том, что «одержим золотухой и цинготным худосочием», он приложил его к рапорту о болезни. Ильяшенков, как и предполагалось заранее, прошение «уважил», Граббе смягчился, командиру Тенгинского полка на его очередной запрос о местонахождении вечно отсутствующего офицера было отвечено, что поручику Лермонтову разрешено остаться в Пятигорске — впредь до получения облегчения. Словом, все выходило по его, Лермонтова, хотению: вместо скучной Темир-Хан-Шуры, где будет не до «демона поэзии», он получал в свое распоряжение целое пятигорское лето.

Лето оборвалось ровно на середине. Но два месяца он все-таки выиграл. За эти два месяца в записной книжке к уже написанным в дороге «Утесу», «Спору», «Сну», «Они любили друг друга» прибавились еще шесть шедевров: «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна» и «Пророк». Даже среди произведений зрелого Лермонтова эти стихи кажутся отмеченными какой-то иной, еще более мудрой зрелостью. Скачок виден и нам, но современники поэта чувствовали его острее и резче.

«Да, тысяча восемьсот сорок первый год — последний год в жизни поэта нашего — есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на наше восторженное сочувствие», — писал в 1852 году сподвижник молодого Толстого Александр Васильевич Дружинин.

Презрение рока

В. Белинский, лично знавший Лермонтова, так определил главную черту его натуры: «презрение рока и предчувствие его неизбежности». Поведение поэта в преддверные месяцы подтверждает точность этой характеристики.

Эмилия Шан-Гирей, урожденная Верзилина, в доме которой произошло столкновение между Лермонтовым и Мартыновым, вспоминает:

«...Собралось к нам несколько девиц и мужчин... Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин... и принялись они вдвоем острить свой язык á qui mieux (наперебой)... Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривавшего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его... *montagnard au grand poignard* (горцем с большим кинжалом). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово “*poignard*” (кинжал) разнеслось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: “Сколько раз я просил вас оставить свои шутки при дамах”, и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание “язык мой — враг мой” Михаил Юрьевич отвечал спокойно: “*Ce n'est rien; demain nous serons bons amis*” (“Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями”). Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: “Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?” Мартынов ответил решительно: “Да”, и тут же назначили день».

Ссора между Лермонтовым и Мартыновым произошла 13 июля 1841 года.

Через два дня, 15 июля, около семи часов вечера, в 4 километрах от Пятигорска, у подножия горы Машук состоялась дуэль, на которой поэт был убит.

Многие обстоятельства этого события до сих пор остаются неясными. Судебное следствие велось не для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы скрыть ее и не ставить под удар секундантов Столыпина и Трубецкого, находившихся в Пятигорске нелегально. В итоге оба не фигурировали в следственном деле.

Наиболее правдоподобным представляется описание дуэли, составленное по разным первоисточникам современником поэта А. Булгаковым.

«...Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна только шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения... везде, где он только захочет!.. “Стреляй! Стреляй!” – был ответ испуганного Мартынова.

Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все же кончить глупую эту ссору дружелюбно. Не так великодушно думал Мартынов. Он был довольно бессердечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему и выстрелить ему прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была так же скоростижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства и справедливости. Ежели б он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: “извольте зарядить опять ваш пистолет. Я советую вам хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить”. Так поступил бы благородный храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца».

Сразу же после окончания поединка разразилась сильная гроза. Секунданты, оставив Глебова у тела Лермонтова, ускакали в город. Необходимо было раздобыть повозку, чтобы перевезти убитого.

«Глебов, – пишет Верзилина-Шан-Гирей, – рассказывал мне, какие мучительные часы провел он ... один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях. Темно, кони привязанные ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром непрерывно; необъяснимо страшно стало. И Глебов хотел осторожно опустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим...»

Тело поэта привез в Пятигорск в 11 часов вечера крепостной слуга Лермонтова. 17 июля был произведен медицинский осмотр и составлено надлежащее свидетельство:

«При осмотре оказалось, что пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер».

Восстановив по рассказам свидетелей обстоятельства дуэли и положение «поединщиков», биографы пришли к заключению, что выстрел Мартынова не мог нанести ранение, описанное в медицинском «свидетельстве». В связи с этим некоторое время назад возникла даже анекдотическая версия, будто Лермонтова убил некто, спрятавшийся в придорожных кустах.

Более вероятной представляется версия С. Недумова, долгие годы бывшего директором лермонтовского музея в Пятигорске.

В день дуэли Лермонтов с друзьями устроили пикник, там была и его дальняя родственница Екатерина Быховец. Поэт любил бывать в ее обществе. Он находил в ней сходство с Варварой Александровной Лопухиной.

Погода была прекрасной. Ничто не обещало страшной вечерней грозы. Отправились на прогулку — «гуляли в роще», – пишет Быховец. У нее было бандо — золотой обруч, закрепляющий косу. Коса рассыпалась, бандо упало в траву. Лермонтов отыскал безделушку, но владелице не вернул. Спрятал в карман сюртука. На счастье.

С. Недумов высказал предположение, что золотой ободок Быховец и сыграл «роковую роль» в обстоятельствах ранения поэта; по его гипотезе, «пуля, встретив

на своем пути фероньерку, резко рикошетировала вверх и, как видно из акта осмотра тела, пробила оба легких».

Существует и еще одна версия, объясняющая необычный угол пулевого канала. Встав к противнику правым боком и слегка отклонившись влево для равновесия, Лермонтов вытянул правую, с пистолетом, руку вверх: как и в случае с де Барантом, он стрелял в воздух...

Могила без молитв и без креста

17 июля 1841 года состоялось погребение тела поэта на пятигорском кладбище. Запись в метрической книге пятигорской церкви Скорбящей Богородицы:

«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17 погребен, погребение пето не было».

Последняя деталь требует разъяснения.

По православному обычаю, убитый на дуэли приравнивался к самоубийце, похоронить его по церковному обряду было нелегким делом. Дав взятку священнику, друзья поэта добились разрешения вырыть могилу на кладбище, а не за пределами его; на большее местное духовенство не решилось.

Когда-то, в ранней юности, Лермонтов написал странные стихи:

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста.

И вот предсказание сбывалось: тело его было предано земле *без молитв*. Да и место первоначального захоронения, как и место рокового поединка, осталось неизвестным: при перенесении праха поэта в Тарханы могила была разрыта, а могильный камень, простой и узкий, положен рядом. Разрытая могила посреди ухоженного кладбища производила гнетущее впечатление, к тому же разнесся слух, что кто-то из почитателей поэта собирался похитить надгробье; городское начальство приказало зарыть камень. В начале XX века, когда специальная комиссия прибыла в Пятигорск для установления точного места первоначального погребения поэта, никого из старожилов уже не было в живых, некому было показать место, где зарыли беспризорный камень. Решили поставить указатель рядом с могилой Акима Шан-Гирея.

Причина дуэли

Смерть Лермонтова породила множество толков. Открыто говорили о том, что Мартынов был только марионеткой в чьих-то опытных и властных руках. Эту версию, возникшую в первые дни после гибели поэта, поддержал П. Висковатов. Он был уверен в том, что в поединке Лермонтова с Мартыновым принимал участие кто-то из людей «высшего круга», имевших основания не любить Лермонтова. Висковатов приводит рассказ офицера С. Лисаневича о том, как летом 1841 года в Пятигорске его склоняли к дуэли с Лермонтовым. Девятнадцатилетний Лисаневич очень страдал от шуточек, которые отпускал по его адресу Лермонтов, но на предложение вызвать обидчика на дуэль ответил: «Что вы! Чтобы у меня поднялась рука на такого человека».

Для того чтобы правильно расставить акценты, нельзя забывать и о том, что ссора, затеянная Мартыновым, была отнюдь не случайной.

Да, Мартынов был обидчив, а Лермонтов насмешлив, но к этому свойству Маешки Мартышка (юнкерское прозвище Мартынова) должен был привыкнуть, ведь они были однокашниками по гвардейской школе, где Лермонтов насмешничал куда злее. Однако тогда, в юнкерские годы, у Мартынова не было оснований завидовать Лермонтову, а теперь — были. И он завидовал. Не успехам своего друга-врага в дамском обществе, тут Николай Соломонович был слишком уж в себе уверен. И не его литературной славе — на нее он и не претендовал. Это может показаться забавным, но отставной майор Николай

Мартынов завидовал, и, видимо, мучительно, «пламенной храбрости» сосланного поручика, его репутации отличного боевого офицера, которой не смогли помешать ни «гонение», ни «опала», потому что сам он оказался совершенно не способным к службе в действующей армии. Настолько не способным, что вынужден был подать в отставку; не помогли ни письма влиятельных людей, ни протекция, ни связи его отца. Все те качества, которые выделяли Мартынова во время столичных парадировок и маршировок — импозантная внешность и красивая выправка, — выглядели здесь, на Кавказе, в походных условиях, попросту смешными.

В феврале 1841 года офицер Гребенского казачьего полка Николай Мартынов вынужден был выйти в отставку. По уставу отставным офицерам дозволялось носить мундир бывшего полка, однако Мартынову форма Гребенского казачьего не нравилась: слишком проста. И он, пользуясь свободой кавказских нравов, сочинил себе туалет в неопределенно горском стиле; в Пятигорске это называлось «истый денди». Неотъемлемой принадлежностью дендизма по-пятигорски были бритая голова, необъятной величины кинжал и, разумеется, черкеска. Рукава своей черкески, как вспоминают очевидцы, Мартынов всегда засучивал для придания фигуре особого молодечества. Черкеска и бритая «под горца» голова были основой, фоном. Истый дендизм требовал внимания к мелочам, и Мартынов изощрялся в дополнениях, чем, естественно, вызывал насмешки товарищей — боевых офицеров.

В первые дни после трагической дуэли возникла легенда о том, что Лермонтов «искал смерти». Знакомые поэта, особенно женщины, стали вспоминать будто бы высказанные им слова о том, что жизнь ему ужасно надоела, а тут еще стихи: «Уж не жду от жизни ничего я...»

Думается, легенда эта, при всей своей поэтичности не соответствует действительности. Доказательство тому — последние письма Лермонтова. Они энергичны, деятельны. И если и выделяется в них какая-нибудь навязчивая идея, так это мечта об отставке.

10 мая 1841 года. Из Пятигорска — бабушке:

«...Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье и я могу выйти в отставку».

Ничего похожего на предсмертную тоску не видим и в житейских поступках и распоряжениях Лермонтова в преддуэльные дни.

28 июня. Из Пятигорска. Елизавете Арсеньевой:

«Прошу вас, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Акиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет».

12 июля он представил пятигорскому коменданту свою подорожную. «Явлено к выезду», так записано в бумагах Пятигорского комендантского управления. Но выезжать сразу же, по-видимому, не собирался. «Недели через две, не раньше», — как явствует из показаний Глебова. Вероятно, ждал посылки с книгами из Петербурга. Хотел также закончить курс лечения водами. Пятигорский медик, выдавший Лермонтову свидетельство о болезни, ничуть не преувеличивал, утверждая, что поручик одержим «худосочием» и «ломотою ног». И то и другое было симптомом кавказской злокачественной лихорадки, которую он подхватил во время своей первой ссылки, в 1837 году.

К 15 июля Лермонтов успел принять 29 ванн. В день дуэли в Железноводске купил еще один курс — пять билетов на ванны № 12.

Все это говорит не о самоубийственной рефлексии, а о воле к жизни, о желании действовать и подчинять себе обстоятельства. И притом действовать в совершенно определенном направлении.

Новый план жизни

Много лет назад, сообщая Лопухиным о своем поступлении в юнкерскую школу, Лермонтов сформулировал план своей жизни. Напоминаю текст письма:

«...До сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес неблагодарному своему кумиру, и вот теперь я — воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего сущего: умереть с пулею в груди — это лучше медленной агонии старика».

И вот он снова меняет план, желая дать «новое направление своей жизни». Ни дикие тревоги войны, ни соблазн дальних странствий больше не привлекают его. Испытав себя и тем и другим, Лермонтов как бы возвращается, сделав круг длиною почти в десять лет, — к тому состоянию, когда он жил «лишь для литературной карьеры». Еще год назад он не хотел даже думать о будущем. Ему достаточно было настоящего, жизни, исполненной внешней, физической деятельности.

Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказание?
Не все ль одно. <...>
<...> И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы в голове...
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз...

Еще год назад Лермонтов был доволен тем, что стал как все. Гордился тем, что и солдаты его отчаянной «команды», и офицеры в экспедиции видят в нем лишь боевого товарища, надежного и терпеливого в лишениях.

Теперь ему захотелось будущего. И сразу же стала тяготить роль храброго армейского офицера. И сразу стало тесно в «кочевой жизни». Сердце «проснулось». Воображение потребовало простора, а ум — работы. Теснота сделалась невыносимой, и «демон нетерпения», вечный спутник «демона поэзии», снова овладел Лермонтовым «целиком». Он весь был в предвкушении полета. Он был готов к нему. Мы можем только гадать, определяя его возможную дальность... А вот Лев Толстой высчитал — и дальность, и траекторию «демонского полета».

«Как рано он умер! — говорил Толстой уже на исходе собственной жизни. — Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий».

И еще, утверждает легенда, так сказал:

«Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский».